

Вторая жена

Автор:

Евгения Марлитт

Вторая жена

Евгения Марлитт

Богатый и благородный Рауль Майнау бросает к ногам обедневшей графини Лианы сокровища всего мира, но он не влюблен в нее и не любим ею. Что окажется сильнее – любовь или долг, гордость или смирение, покорность судьбе или чувство собственного достоинства?

Евгения Марлитт

Вторая жена

Глава 1

Высоко в синем весеннем небе над прудом медленно парила темная точка. В серебристой воде играло множество рыб; все здесь было так уединенно и безмолвно, что даже старые гигантские деревья, окаймлявшие зеркальные воды, не могли защитить их обитателей от крылатого хищника, стремительно спускавшегося с поднебесья за добычей и нарушавшего веселую жизнь водяного царства. Сегодня, однако, он не решился спуститься, так как против обыкновения здесь было много людей: и взрослых и детей, и последние кричали, шумели и бросали в него своими пестрыми мячиками; разряженные для отдыха лошади громко ржали и копытами взрывали прибрежную землю, а сквозь верхушки деревьев неслись к небу легкие облачка дыма. Людской шум и дым не нравились хищнику, и он, мрачный, стал подниматься все выше и выше среди

детских голосов, пока совсем не скрылся, точно тяжеловесное тело его рассыпалось и рассеялось в голубом эфире.

На левом берегу пруда ютилась рыбацья деревенька – домиков в восемь, разбросанных поодаль один от другого, под тенью столетних лип, ветви которых спускались так низко, что соломенные крыши приходились как раз под нижними ветвями; южная сторона домиков окружена была кустами шиповника и боярышника, вдоль стен развешаны были сети с сачками, а перед входными дверями стояли деревянные скамейки, – все это резко выделялось на светлом фоне прибрежья.

Но, напрасно ваш взгляд стал бы искать мощные фигуры рыбаков: их не было тут и следа. Хорошо было и то, что громадный парк со своими вековыми деревьями совершенно скрывал лежавшую за ним столицу; думалось, что находишься в патриархальном центре сельской жизни, пока не отворилась дверь одного из домиков.

Если бы германский герцог мог предвидеть, что за безвинный малый Трианон блестящая французская королева поплатится впоследствии головой, то рыбацья деревенька, наверно, никогда не была бы построена; но он не обладал даром предвидения, потому это прелестное подражание вот уже более ста лет стояло на берегу пруда, представляя собой снаружи первобытную идиллию, внутри же все вполне удовлетворяло всем прихотям избалованного роскошью человека. Если войти в один из домиков, то ваша нога тонула в богатейших пушистых коврах; мебель и стены были обиты тяжелыми шелковыми материями, простенки скрывались под зеркалами, хотя по наружности домики и кокетничали бедностью и простотой; но нельзя же было, на самом деле, обедать за белым деревянным столом, а тем более отдыхать после упоительной игры на жесткой деревянной скамейке.

Герцогский дом, одному из владельцев которого рыбацья деревня была обязана своим существованием, строго придерживался старого обычая, по которому каждый наследник престола должен был посадить липу на восьмом году от рождения. Таким образом луг, раскинутый на левом берегу пруда и прозванный Майенфестом, сделался историческою знаменитостью, нечто вроде генеалогической таблицы. Случалось, что посаженная герцогскою рукой липа не принималась, но в общем Майенфест обладал поистине редкими экземплярами: вековые исполины, стволы которых покрыты были серо-зеленоватым мохом, точно панцирем, простирали длинные ветви над своими потомками и над

слабыми деревцами, которые – увы! – и здесь встречались, несмотря на то, что были посажены рукой герцогского сына.

Сегодня, в мае, наступила знаменательная очередь наследному принцу Фридриху. Само собой разумеется, двор и лояльная столица праздновали этот день по предписанному издавна обычаю. Были приглашены все дети лиц, принимавшихся во дворе; менее счастливые, не имевшие ни баронской, ни дворянской короны, тоже выехали со своими родителями, чтобы хоть издали видеть, как природный принц будет управляться с заступом. За Вагенбургом тянулось по дорогам и тропинкам множество народа, а молодые парни влезали на деревья, служившие, бесспорно, самыми лучшими наблюдательными пунктами.

Торжество было двойное. Полтора года тому назад умер владетельный герцог, отец наследного принца, и только сегодня вдова его, красавица герцогиня, сняла долго продолжавшийся траур.

Она стояла тут же, возле только что посаженной липки. При взгляде на нее нельзя было ни минуты сомневаться в том, что она здесь находится царица всего собрания. Она была вся в белом, только у пояса приколот бледно-розовый цветок шиповника, да от пунцовой подкладки маленького зонтика, который она держала над непокрытой головой, падала розоватая тень на ее лицо, на прямой, остренький, очень маленький носик и полные, хотя и бледные губы.

Поразительно неправильные черты лица, густые, как грива, с синеватым отливом волосы, легкая синева под глазами и тот восковой, безжизненный цвет лица, который так часто служит признаком страстной натуры, придавали ее лицу красоту испанской креолки, хотя, разумеется, в жилах немецкой герцогини не было ни капли этой крови.

Она следила за полетом хищника так же внимательно, как и толпа детей, сопровождавшая восторженными криками его исчезновение.

– Ты опять не кричал с нами, Габриель, – сердито заметил маленький мальчик стоявшему около него другому, постарше, белое полотняное платье которого резко отличалось от изящных костюмов прочих детей.

Мальчик не отвечал, а растерянно и смущенно опустил глаза, и это вдруг сильно рассердило младшего.

– Разве тебе не стыдно перед другими мальчиками, негодный мальчишка?.. Кричи сейчас же ура! И мы тоже закричим, – приказывал, и в то же время ободрял он.

Мальчик в белом платье тревожно отвернулся. Он пытался было уйти, как вдруг маленький мальчик с быстротой молнии приподнял свой хлыст и ударил им по лицу несчастного.

Остальные дети мигом разбежались, и дрожащий от гнева мальчик на несколько минут остался один. Это был очень красивый ребенок, в изящном зеленом бархатном костюме, с чудными каштановыми локонами, полный силы и величия; наследный принц, брат его и вся их детская свита не могли бы с ним сравниться.

Бедная и испуганная наставница его поспешила к нему; но герцогиня предупредила ее и взяла его за руку, крепко сжатую в кулак.

– Это нехорошо, Лео, – сказала она, но в голосе слышалось более нежности, чем гнева.

Мальчик резко высвободил свою руку из нежной, бархатной руки герцогини и, бросив искоса взгляд на удалявшегося, побитого им товарища, повернулся на каблучке.

– Что ж такое, – ворчал он, – и поделом ему! Папа его тоже терпеть не может и говорит: «Этот трус боится даже собственного своего голоса».

– Положим, что так, маленький упрямец; тогда для чего же ты настаиваешь, чтобы этот Габриель сопровождал тебя всюду? – спросила, улыбаясь, герцогиня.

– Потому... ну, потому, что я так хочу!

С этими словами Лео гордо поднял свою кудрявую головку и, повернувшись спиной ко всему обществу, как будто оно для него и не существовало, скрылся за одним из домиков. Он пошел в обход, чтобы достигнуть той старой липы, за которой спрятался обиженный им мальчик.

Бедняжка одиноко стоял, прислонившись к дереву. То был мальчик лет около тринадцати с выразительным, печальным лицом, худой, но со стройной, изящной фигуркой. Он намочил в пруду платок и приложил его к левой щеке, между тем как губы его нервно вздрагивали, быть может, менее от боли, какую причинил ему удар хлыстом, чем от внутреннего волнения.

Маленький Лео обошел вокруг него несколько раз, порывисто щелкая в воздухе хлыстом.

– Тебе очень больно? – спросил он вдруг коротко и резко, с мрачно сдвинутыми бровями, и топнул ногой.

Габриель отнял от лица платок, чтобы снова смочить его водою, причем на щеке его обнаружился шедший поперек щеки красный рубец.

– О нет, – отвечал Габриель кротким, в высшей степени симпатичным голосом, – только жжет немного.

В одно мгновение хлыст очутился на земле, и с раздирающим душу криком Лео бросился на шею к Габриелю.

– Я слишком дурной мальчик! – воскликнул он. – Вон там лежит мой хлыст, Габриель, возьми его и прибей меня также!

Прочие дети смотрели, разинув рот, на этот неожиданный порыв горького раскаяния. Герцогиня тоже была недалеко; должно быть, странное ощущение овладело ею, потому что она стремительно бросилась к ребенку, прижала его к сердцу и стала осыпать поцелуями его красивое лицо.

– Рауль! – едва слышно прошептала она. – Ах, глупости! – проворчал мальчик, с силой освобождаясь из ее объятий. – Раулем зовут моего отца!

На бледных щеках герцогини вспыхнул яркий румянец, она выпрямилась и с минуту оставалась неподвижной, потом медленно повернула голову и робко и нерешительно оглянулась кругом; дамы, только что стоявшие неподалеку от нее, теперь исчезли за дверью ближайшего домика.

Глава 2

По дороге из столицы катился придворный экипаж; в глубине его сидел господин, а рядом с ним на голубых шелковых подушках лежали принадлежности для игры в крокет. Карета только что свернула на главную дорогу, пролегавшую вдоль пруда, как из чащи деревьев показался пешеход. Находившийся в карете господин тотчас же велел кучеру остановиться.

– Здравствуй, Майнау! – воскликнул он. – Не сердись на меня, если я замечу, что тебя ждут с замиранием сердца, а ты бродишь Бог знает где!.. Липа уже давно стоит, и ты лишил дом Майнау возможности с гордостью передавать из рода в род предание, что твоя рука держала ствол липы в то время, когда Фридрих двадцать первый засыпал землей ее корни.

– За это когда-нибудь завесят мой портрет траурным флером.

Господин в экипаже засмеялся и, отворив дверцу, движением руки пригласил Майнау сесть в экипаж.

– Как! Сесть в карету, Рюдигер? Нет, благодарю покорно! – воскликнул с комическим ужасом Майнау. – Я, слава Богу, еще не страдаю подагрой!.. Поезжай далее, с гордым сознанием исполненной тобою миссии! Ведь ты должен был привезти забытый крокет, счастливец?

Рюдигер выскочил из экипажа, захлопнул дверцу и, приказав кучеру ехать вперед, пошел вместе с Майнау по тропинке, ведущей через парк к рыбацкой деревне... Странно было видеть их вместе: приехавший в экипаже был маленьким, полным и чересчур подвижным; товарищ же его был очень высок, так что ему приходилось часто раздвигать нижние ветви деревьев, чтобы не задеть их головой. Этот человек обладал блестящей наружностью; в выразительном лице и во всех его движениях замечался какой-то демонический огонь, то кротко и мечтательно светившийся в его глазах, то через минуту заставлявший нежную, мягкую руку его сжиматься в кулак, точно она готовилась свалить на землю ненавистного противника. Своевольный мальчик, которого мы видели в рыбацкой деревне, был похож на него до смешного.

– Так пойдем! – сказал Рюдигер. – К несчастью, на обед сегодня мы не опоздаем ни в каком случае... брр!... детская кашка и пудинги во всевозможных видах!.. Выговора я также не боюсь, потому что я приведу тебя с собой... А прогос, ты, дня на два уезжал, как сообщил твой Лео герцогине?

– Да, уезжал, достойнейший друг.

Этот лаконичный ответ звучал такую иронией, что у маленького подвижного господина вопрос «куда?» так и замер на губах... Они только что вышли из чащи, как перед ними открылся вид на спокойную поверхность пруда и рыбацью деревеньку, расположенную по другую его сторону.

Под липами были расставлены покрытые белоснежными скатертями столы. Между ними и тем из домиков, в дверях которого был виден герцогский повар в белом колпаке, суетившийся у плиты, бегали взад и вперед официанты – готовился обед.

Взволновавшая всех сцена, разыгранная маленьким Лео, была давно забыта; дети играли в разные игры, и все способные бегать принимали участие в игре: и грациозные фрейлины, и стройные камер-юнкеры. И даже менее подвижные кавалеры, толстяки и страдающие одышкой обер-гофмейстеры ковыляли, похлопывая в ладоши, среди групп резвившихся детей.

Герцогиня подошла так близко к берегу пруда, что вода едва не касалась ее ног. Точно белоснежный лебедь, тихо колыхалось ее отражение в зеркале воды. Некоторые из приближенных дам принесли ей венок из дикого винограда и полевых цветов; он окружал ее лоб, спускаясь длинными зелеными гроздьями на ее роскошную фигуру.

– Офелия! – воскликнул барон Майнау вполголоса и с патетическим жестом, и в тоне, с каким он это произнес, прозвучал бесконечный сарказм.

Спутник его заволновался.

– Ну, к чему это, ведь это чистая комедия, Майнау! – воскликнул он в негодовании. – Это может быть хорошо с дамами, которые трепещут перед тобой, как овечки, а не со мной.

Он заложил руки в карманы своего легкого пальто, поднял плечи и начал, лукаво улыбаясь:

– Однажды жили-были прекрасная, но бедная принцесса и блестящий, красивый молодой человек. Они любили друг друга, и ее высочество хотела отказаться от своего высокого титула и сделаться простою баронессою... – Он на минуту умолк и бросил искоса взгляд на своего спутника, заметив, однако, как вдруг побледнел красавец барон и как, стиснув зубы, устремил такой жгучий взгляд в чашу, что, кажется, молодая листва должна была бы от него поблекнуть, и простодушно продолжал:

– Вдруг является кузен принцессы, владетельный принц, и просит ее прекрасной руки. Много горьких слез было пролито чудными черными глазами; но под конец гордая кровь восторжествовала над страстью, и принцесса допустила возложить герцогскую корону на свои роскошные черные локоны... Положив руку на сердце, Майнау, – вдруг с живостью прервал он самого себя, – кто бы мог осудить ее тогда? Разве только глупые люди!

Майнау не положил руки на сердце и ничего не ответил; он гневно сорвал маленькую ветку, дерзнувшую коснуться его щеки, и далеко отбросил ее.

– Как должно биться сегодня ее сердце! – сказал Рюдигер после минутной паузы; он, видимо, желал, во что бы то ни стало продлить интересный для него разговор. – Траур по мужу кончен; герцогская гордость удовлетворена навсегда, потому что она герцогиня и всегда останется матерью владетельного принца, ты тоже свободен от своих брачных уз. Обстоятельства так отлично складываются... и теперь ты меня не надуешь!.. Мы знаем, что сегодня должно произойти.

– Как же вы проницательны, подумать только! – воскликнул Майнау с притворным изумлением.

С этими словами они вышли на открытую поляну, где стояли экипажи. Не желая быть замеченными резвившимися детьми и толпой народа, наши друзья предпочли идти по тропинке, пролегавшей вдоль берега.

– Эй, малый, с ума ты сошел! – воскликнул вдруг Майнау, схватив за шиворот здорового нищего мальчика, который, избрав себе очень опасный пост, качался,

сидя на тонкой ветке, спустившейся над прудом, и, встряхнув его несколько раз, как мокрого пуделя, поставил на ноги. – Положим, что холодное купание не повредило бы тебе, любезный, – засмеялся он, похлопывая одна о другую руками, затянутыми в изящные перчатки, – только я сомневаюсь в твоём умении плавать.

– Фу, как он грязен! – сказал Рюдигер, брезгливо морщась.

– Это правда, но уверяю тебя, что я не особенно брезглив к подобным прикосновениям – это просто плебейские замашки, в которых душа не принимает участия... Да, но, воля твоя, нам еще далеко до того совершенства, когда и тело наше проникнется аристократизмом и подобные замашки сделаются для него невозможными. Что? Ты не согласен?

Рюдигер с досадой отвернулся и ускорил шаг.

– Твой геройский подвиг замечен там, на Майенфесте, – сказал он торопливо. – Вперед, Майнау! Герцогиня покидает свое место... А вот и твой необузданный мальчик бежит!

Маленький Лео, обогнув пруд, быстро бежал навстречу к отцу. Барон Майнау нежно поцеловал сына и повел его за руку.

Между тем игры на Майенфесте продолжались; герцогиня в сопровождении нескольких дам и кавалеров медленно приближалась к ним... Она обладала еще и воздушной походкой, неподражаемой грацией и гибкостью креолки... Да, мрачное, траурное платье было сброшено, как сбрасывает пестрая легкокрылая бабочка безобразную куколку. Условия долга и приличия были строго соблюдены, наконец можно было надеяться на счастье, и глаза могли беспрепятственно гореть ярким пламенем страсти, как это было в настоящую минуту.

– Я должна побранить вас, барон Майнау, – сказала она нетвердым голосом. – Вы сейчас испугали меня своим героизмом, а потом вы являетесь слишком поздно.

Он снял шляпу и, держа ее в правой руке, низко склонил голову. Луч солнца заиграл на темных кудрях этого загадочного человека, перед которым женщины трепетали, «как овечки».

– Я вместе с другом Рюдигером мог бы заявить, как я несчастлив, – возразил он, – но боюсь, что ваше высочество не поверит мне, когда я сообщу, что именно меня удержало.

Герцогиня удивленно вгляделась в его лицо – оно немного побледнело, но взгляд его, почти всегда загадочный, горел таким диким торжеством, что она невольно прижала руку к сердцу; маленькая роза у пояса сломалась и упала незамеченная к ногам красавца.

Напрасно ждал он вопроса царственной женщины: она молчала и тоже ждала, затаив дыхание. После минутного молчания он, почтительно поклонившись, продолжал:

– Я был в Рюдисдорфе, у тетки моей Трахенберг, и осмелюсь доложить вашему высочеству, что обручился там с Юлианой, графиней Трахенберг.

Все присутствовавшие при этом разговоре точно окаменели; у кого достало бы мужества хотя бы одним звуком прервать это ужасное молчание или хотя бы бросить нескромный взгляд на герцогиню, которая стояла пораженная, крепко сжав побелевшие губы?.. Только племянница ее, молодая принцесса Елена, весело и непринужденно засмеялась.

– Что за дикая фантазия, барон Майнау, избрать себе жену с именем Юлиана?.. Юлиана! Фу! Ее иначе себе и представить нельзя, как с очками на носу.

Майнау тоже засмеялся, и как мелодично и простодушно звучал его смех!.. Это был спасительный исход. Герцогиня тоже улыбнулась своими смертельно бледными губами. Она сказала несколько слов жениху таким невозмутимо спокойным голосом и с таким достоинством, как может приветствовать своего подданного только повелительница.

– Mesdames, – непринужденно обратилась она к группе молодых фрейлин, – к сожалению, я должна снять ваш прелестный венок: он давит мне виски, а потому я удаляюсь на минуту... До свидания за обедом!

Она отказалась от услуг, предложенных ей одной из придворных дам, вошла в один из домиков и затворила за собой дверь.

Цвет лица ее всегда напоминал нежную белую лилию, а прекрасные глаза нередко горели тем жгучим огнем, в котором сказывается южная кровь; она, по обыкновению, улыбалась и приветливо кланялась и исчезла за дверью подобно воздушной фее. Никто и не предполагал, что, войдя туда, она, как подкошенная грозой ель, бессильно упала на устланный мягким ковром пол близ кушетки, с безумным хохотом сорвала с головы венки и, невыносимо страдая, вонзила тонкие ногти свои в драгоценную шелковую обивку... Только на одну минуту, так как все ее время было строго рассчитано придворным этикетом, она могла предаться охватившему ее горю, а затем эти бледные губы должны были опять улыбаться, чтобы окружающие могли сохранить убеждение, что кипучая кровь ее спокойно и бесстрастно течет в ее жилах.

Между тем барон Майнау стоял с сыном, которого по-прежнему держал за руку, на берегу пруда и, по-видимому, с любопытством присматривался к движению толпы у Вагенбурга. Его поздравили, но все придворное общество казалось парализованным, и вскоре он остался один. Вдруг Рюдигер подошел к нему.

– Ужасная месть! Блестящий реванш! – проговорил он, и голос его еще дрожал от ужаса. – Бррр... и я скажу, как Гретхен: «Генрих, мне страшно за тебя!..» Боже мой! Видел ли кто когда-нибудь, чтобы мужчина удовлетворил свое оскорбленное самолюбие так жестоко; так утонченно и так безжалостно поразил свою жертву, как ты сделал это сейчас?.. Это безумно, смело, возмутительно!

– Потому что я выразился не в общепринятой форме и не заявил: «Теперь я не хочу!..» Неужели вы думаете, что я позволю себя женить?

Маленький подвижный господин искоса робко взглянул на него: этот утонченно вежливый Майнау бывал иногда очень резок, чтобы не сказать – груб.

– Я утешаю себя тем, что при всей твоей жестокой и непреодолимой гордости ты все-таки очень страдаешь, – сказал он почти сердито после непродолжительного молчания.

– Надеюсь, что ты представишь мне полное право самому справиться с собою.

– Ах, Боже мой! Разумеется... Но что же дальше?

– Что дальше? – рассмеялся Майнау. – Дальше свадьба, любезный Рюдигер.

– В самом деле?.. Да ведь ты никогда не бывал в этом Рюдисдорфе, – это я наверно знаю... Значит, это наскоро приобретенная невеста из Готовского альманаха?

– Угадал, друг.

Гм!.. Она знаменитого рода, но... но Рюдисдорф, как известно, теперь опустел... Какова же она собою?

– Добрейший Рюдигер, это двадцатилетняя жердь с рыжими волосами и потупленными глазами – больше я ничего не знаю. Ее зеркало должно лучше это знать... А, да что в этом?.. Мне не нужно ни красивой, ни богатой жены – она должна быть только добродетельна, не должна беспокоить меня своим поведением, за которое не пришлось бы мне краснеть. Ведь ты знаешь мои воззрения на брак.

Та же самая жестокая, гордая улыбка, которая только что заставила побледнеть герцогиню, промелькнула на его губах – очевидно, он вспомнил о «блестящем реванше».

– Что же мне остается делать? – спросил он с наивной беззаботностью после некоторого молчания. – Дядя прогнал гувернера Лео за то, что тот по ночам читал лежа в постели и носил сапоги со скрипом, а наставница имеет скверную привычку немилосердно прятать глаза и мимоходом тайком лакомиться с подносов конфетами – она просто невозможна! Я же намерен в непродолжительном времени предпринять путешествие на восток, ergo – мне нужна дома жена... Через шесть недель назначена моя свадьба, – хочешь быть у меня шафером?

Маленький господин переминался с ноги на ногу.

– Что же с тобой поделаешь! Разумеется, я должен быть, – возразил он полугневно, полушутливо, – потому что из тех, – и он указал на группу перешептывавшейся и пересмеивавшейся молодежи, – из тех никто не пойдет к тебе в шафера, в этом ты можешь быть уверен.

– Слышишь, Габриель, – сказал вслед за тем взволнованный маленький Лео своему товарищу, – новая мама, которая к нам скоро приедет, похожа на жердь, говорит папа, и волосы у нее рыжие, как у нашей судомойки... Я ее терпеть не могу, я не хочу ее и стану бить ее хлыстом, когда она приедет.

Глава 3

– Посмотри-ка, Лиана, подарок Рауля! Он стоит шесть тысяч талеров! – слышался голос графини Трахенберг из другой комнаты, после чего она сама показалась на пороге.

Зал, куда она вошла, находился в нижнем этаже одного из боковых флигелей замка. Весь передний фасад его представлял одну сплошную стеклянную раму гигантских размеров с тонкими свинцовыми переплетами, отделявшую покой нижнего этажа от площадки этой террасы, с которой открывался вид на лужайки, полные цветов и прорезанные дорожками, усыпанными мелким гравием; на перекрестках этих дорожек стояли скульптурные группы из белого мрамора. Весь этот изящный цветник был окружен рощей, казавшейся непроходимым лесом, и как раз против средней стеклянной двери зала пролежала сквозь всю чащу леса бесконечной длины прямая аллея, заканчивавшаяся высоко бившим фонтаном, освещенным теперь чудным сиянием майского солнца.

В общем замок и сад были образцовым произведением старофранцузского вкуса; но – увы! – на каменном фундаменте террасы зеленел мох, ступени поросли травой, которая пробивалась уже на дорожках, и даже на широкой аллее виднелась изумрудная трава... Но чего только не рассмотрел потолок прилегавшего к террасе зала, украшенный великолепной живописью!.. Теперь он с грустью нависал над расставленной по стенам мебелью в стиле рококо. Эта мебель, уже вышедшая из моды, давно была изгнана из парадных комнат замка, перенесла все стадии унижения и, наконец, дожила до того, что была перенесена в комнату конюха и в числе прочего хлама скрывалась под густым слоем пыли... Но вот она опять очутилась на прежнем месте, как неподкупный свидетель превратностей судьбы. Вытеснившая ее когда-то роскошная обстановка: новая изящная мебель, кружевные гардины, часы, картины, зеркала, – все подверглось общей неизбежной участи, все пошло с молотка и

разошлось на все стороны, и тогда-то старинная мебель, не подлежавшая секвестру, наложенному на все имущество графа Трахенберга, поставлена была на прежнее место. Этот «постыдный признак беспокойного времени, возмутительная победа, которую правосудное небо не должно было бы допускать», как постоянно повторяла графиня Трахенберг, случился четыре года тому назад.

Среди этого зала стоял длинный дубовый стол, за одним концом которого сидела девушка, поразительно некрасивая собой. Можно было просто испугаться при виде этой непомерно большой головы, с жесткими рыжими волосами и с физиономией негра, с тою только разницей, что кожа ее, хотя и покрытая веснушками, была необыкновенно бела и нежна. Только проворно работавшие руки были чудно хороши, точно изваянные из мрамора. Девушка вертела между пальцами ветку лиловой сирени, и казалось, чудный аромат исходил от этой ветки и наполнял комнату – так свежа была она; но стебелек ее в эту минуту обвивался тонкой полоской зеленой бумаги, почему только и можно было догадаться, что это был искусственный цветок.

При входе графини девушка вздрогнула от испуга, цветок полетел в сторону к прочим материалам, а на молчаливых свидетелей ее занятий был брошен платок.

– Ах, мама! – воскликнула вполголоса молодая девушка, стоявшая у другого конца стола, спиною к двери.

Волосы ее, белокурые с красноватым отливом, были совершенно распущены и, подобно золотой мантии, покрывали ее плечи до самого подола ее светлого кисейного платья.

Увидав ее с распущенной косой, графиня на секунду замедлила шаги.

– Почему ты так растрепана? – спросила она коротко, указывая на волосы.

– Я возвратилась домой с сильной головной болью, милая мама, и поэтому Ульрика расплела мне косы, – робко ответила молодая девушка. – Ах, это ужасная тяжесть! – вздохнула она и закинула голову, как бы изнемогая под этой тяжестью роскошных волос.

– Ты опять бродила по этой жуткой жаре и нанесла сюда негодной травы для забавы мужиков? – спросила графиня гневно и строго. – Когда же настанет конец этому ребячеству?

Она пожала плечами и бросила презрительный взгляд на стол. На нем лежала целая кипа папиросной бумаги рядом с прессом, из-под которого молодая девушка только что вынула несколько орхидей, чтобы уложить их в гербарий. Ее сиятельство графиня Трахенберг, урожденная княжна Лютовицкая, знала очень хорошо, что старшая дочь ее, графиня Ульрика, занималась изготовлением искусственных цветов, которые посылались в Берлин, где очень хорошо оплачивались; дело велось с помощью старой кормилицы, и никто не подозревал, что голова искусной художницы украшалась графской короной... Графине также было известно и то, что ее единственный сын и наследник замка Трахенберг с помощью сестры своей Юлианы отлично высушивал презренную, негодную траву и в виде сборника образцов чужеземной флоры продавал в Россию под чужим именем. Но урожденная княжна Лютовицкая не должна была этого знать – и горе той руке, которую она застала бы за неприличной работой, или языку, который решился бы намекнуть об источниках увеличения доходов семьи: это было просто забавой, на которую следовало смотреть сквозь пальцы, – и более ничего!

Проходя мимо, графиня подхватила волосы дочери и взвесила на руке их «ужасную тяжесть»; что-то похожее на чувство материнской гордости промелькнуло на ее еще прекрасном, с резко очерченными чертами лице.

– Рауль должен бы это видеть, – сказала она. – Глупенькая, ты скрыла от него свое лучшее украшение!.. Я никогда не прощу тебе тех огромных бархатных бантов, которые ты придумала надеть на голову в первый визит его к нам... С такими волосами...

– Да ведь они рыжие, мама.

– Вздор! Вот эти рыжие, – сказала она, указывая на другую дочь, Ульрику. – Боже меня избави от двух рыжих голов! За что такое жестокое наказание?

Графиня Ульрика, вынувшая между тем из кармана какое-то вышивание, сидела, как статуя, и слушала беспощадные слова эти с невозмутимым спокойствием. Ни один мускул на ее лице не дрогнул: ведь ее красавица мать была права; но

сестра подбежала к ней и, ласкаясь, положила голову ей на грудь, а потом принялась с нежностью целовать ее рыжие волосы.

– Сентиментальности без конца! – раздражительно проворчала графиня Трахенберг и положила на стол принесенный с собой большой пакет.

Взяв со стола ножницы, она торопливо вскрыла его и вынула оттуда футляр с ожерельем и белую шелковую материю, затканную серебряными арабесками.

С необыкновенною жадностью бросилась она на футляр, открыла его и, закинув назад голову, устремила испытующий взгляд на подарок; при этом она едва могла совладать с охватившим ее чувством неприятного удивления и зависти.

– Посмотрите-ка! Моя скромная овечка предстанет пред алтарем прекраснее, нежели прославленная княжна Лютовицкая, – проговорила она медленно, подчеркивая каждое слово и играя в лучах солнца ожерельем из брильянтов и крупных смарагдов. – Да, конечно, для Майнау это возможно!.. А ваш отец был бедняк, я должна была бы еще тогда это заметить.

Ульрика вскочила, как будто мать ударила ее по лицу; в некрасивых, но выразительных, опущенных длинными ресницами голубых глазах ее сверкнула искра негодования; но тотчас же, овладев собой и продергивая зеленую нить в шитье, она сказала серьезным, монотонным голосом:

– Трахенберги обладали тогда большим состоянием, равнявшимся полумиллиону. Они, кажется, всегда отличались бережливостью и умением жить, и мой дорогой отец оставался верен этим добродетелям до сорокового года своей жизни, когда он женился... Я работала вместе с чиновниками, чтобы пролить свет на этот хаос, а поэтому знаю, что отец обеднел только вследствие своей безграничной уступчивости.

– Бессовестная! – закричала графиня, и приподнятая рука ее невольно сжалась в кулак, но в ту же минуту с презрительным жестом опустилась. – Ты всегда защищаешь твоих Трахенбергов; у меня с тобой ничего нет общего, кроме того, что я должна была дать тебе жизнь. Ты в этом еще больше убедишься, когда посмотришь на всех своих предков, собранных в портретной галерее, где рыжеволосые обезьяны покрывают стены сверху донизу! Недаром я плакала и проклинала судьбу, когда тридцать лет тому назад положили мне на колени

новорожденное чудовище, живую Трахенберг!

– Мама! – воскликнула Лиана.

– Успокойся, успокойся, дитя! – уговаривала ее, кротко улыбаясь дрожащими губами, сестра. Она свернула свое вышивание и поднялась с места. Обе сестры были одинакового роста, стройные, как сальфиды, с благородными красивыми руками и ногами, гибкой талией и детски неразвитым бюстом.

В то время как мать гневно бросила на стол футляр с ожерельем, Ульрика не спеша развернула шелковую материю. Необыкновенно плотная, она скорее походила на парчу времен наших прабабушек, и такая тяжелая, что выскользнула из ее рук и, шурша и шипя, упала на паркет. Бросив испуганный взгляд на драгоценную ткань, Лиана отвернулась, устремила свои взоры в сад и стала всматриваться вдаль так пристально, как будто задалась задачей пересчитать золотистые брызги отдаленного фонтана, сверкавшие на солнце подобно алмазам.

– Ты будешь величественной невестой. Лиана... Ах, если б отец мог видеть тебя! – воскликнула Ульрика.

– Рауль издевается над нами, – прошептала глубоко оскорбленная девушка.

– Он издевается над нами? – переспросила графиня, от тонкого слуха которой не ускользнули слова дочери. – В уме ли ты? Не будешь ли ты так любезна объяснить мне, каким образом может он издеваться над Трахенбергами?

Лиана молча указала на полинявшую материю старомодной мебели, возле которой лежало роскошное подвенечное платье.

– Можно ли вообразить себе более поразительный контраст, мама? Разве это не бестактно, не унизительно перед лицом бедности? – возразила она, стараясь преодолеть страх, внушаемый ей матерью.

Графиня Трахенберг всплеснула руками:

– Боже мой! И это я, я произвела на свет такие пустые головы с плебейскими воззрениями, которые меряют свое высокое положение на аршин торговца?.. Унизительно! И это говорит графиня Трахенберг!.. Ты снисходишь до Майнау, делая эту партию... Пойми ты это!.. Неужели я должна напоминать тебе, что твоя мать происходит по прямой линии от польских королей, а твои предки со стороны отца еще до крестовых походов были владетельными князьями?.. И если бы Рауль поверг к твоим ногам сокровища всего мира, то и тогда он не оплатил бы знатности твоего безупречного рода... Он не насчитает и десяти поколений предков, и ты, выходя за него, скорее идешь на мезальянс. Если бы мне не была невыносима мысль, что у меня дома торчат две незамужние дочери, то я никогда не согласилась бы на его предложение. Он и сам хорошо это знает, в противном случае он не взял бы тебя так необдуманно.

Молодая девушка стояла неподвижно, опустив сложенные руки. Красновато-золотистые волосы ее падали теперь и на грудь, почти скрывая ее профиль, между тем как сестра ее молча скорыми шагами ходила взад и вперед по залу.

В эту минуту дверь, выходящая в коридор, осторожно отворилась, и в ней показалась старая кормилица, исправлявшая теперь должность кухарки.

– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, – сказала она почтительным, тихим голосом, – почтальон еще тут; он не хочет больше ждать.

– Ах, да! Я совсем забыла о нем. Ну, пусть он еще подождет, пока я выйду к нему. Дай ему чашку кофе на кухне, Лена!

Служанка ушла, а графиня вынула из кармана записку.

– Почтальону надо дать на чай, да по этой повестке мы должны уплатить сорок талеров. Реймские купцы до того дерзки, что высылают заказанное мною для свадьбы шампанское наложенным платежом!.. Заплати! – обратилась она лаконически к Ульрике, подавая ей счет.

Яркая краска разлилась по некрасивому лицу дочери.

– Ты заказала шампанское, мама! – воскликнула она с изумлением. – О Боже, и на такую громадную сумму!

Графиня Трахенберг злобно усмехнулась, показав при этом целый ряд искусственных зубов.

– Неужели же ты думала, что я стану угощать гостей на свадебном завтраке смородинной наливкой твоего собственного изготовления? Впрочем, как я уже говорила, я никак не ожидала такой бессовестности со стороны купцов, чтобы требовать немедленной уплаты денег, – она пожала плечами. – Теперь приходится, как говорят, *faire bonne mine au mauvais jeu* [Делать хорошую мину при плохой игре (фр)] и уплатить.

Молча отперла Ульрика письменный стол и вынула оттуда два свертка с деньгами.

– Вот все наше достояние, – сказала она коротко и решительно. – Тут тридцать пять талеров, но на них нам надо жить, потому что не в одном Реймсе отказывают нам в кредите: во всей окрестности не дают нам ни одного лота мяса без немедленной уплаты денег. Ты не можешь этого не знать, мама.

– Разумеется: моя мудрая дочка Ульрика довольно часто проповедует мне на эту излюбленную ею тему.

– Я вынуждена идти на это, мама, – спокойно возразила Ульрика, – так как ты часто забываешь, да, впрочем, это понятно, что наши кредиторы сократили цифру нашего годового дохода с двадцати пяти тысяч до шестисот талеров.

Графиня Трахенберг зажала уши и бросилась к одной из стеклянных дверей; все жесты этой величественной дамы напоминали избалованного ребенка. Она рванула дверь, хотела было выбежать вон, но вдруг остановилась, точно вспомнила что-то.

– Ну, хорошо, – проговорила она, снова хлопнув дверью, по-видимому, уже спокойнее, – только шестьсот талеров. Но позвольте же, наконец, спросить, куда они тратятся?.. Едим донельзя скудно, – какой-то нищенский суп; Лена кормит нас рисом, яйцами да молочными кушаньями до тошноты, а порции пекко, которыми ты ежедневно угощаешь нас, становятся все гомеопатичнее. К тому же я облеклась в этот вечный мундир, – тут она указала на свое черное шелковое платье, который вы соблаговолили подарить мне к Рождеству. Все, что могло сделать мою отшельническую жизнь сколько-нибудь сносной, новейшие

французские книги, конфеты, духи – все это давно сделалось для меня недоступным... а потому я справедливо заключаю, что у тебя денег на расход больше, нежели ты показываешь!

– Ульрика никогда не лжет, мама! – воскликнула возмущенная Лиана.

– Не могу же я отослать назад на почту повестку, – невозмутимо сказала графиня. – Прошу закончить эту комедию и уплатить деньги по счету.

– Но откуда же я возьму их?.. Надо отправить вино назад! – ответила спокойно Ульрика.

Мать с громким воплем бросилась навзничь на диван и разразилась истерическим хохотом.

Спокойно, со скрещенными руками стояла Ульрика у изголовья дивана и смотрела, как билась и металась графиня в припадке истерики, и на губах ее мелькала горькая, ироническая улыбка.

– Бедный Магнус! – прошептала Лиана, указав на дверь соседней комнаты. – Он там, как встревожится он от этого шума!.. Пожалуйста, мама, успокойся! Магнус не должен видеть тебя в этом состоянии: что он подумает? – обратилась она не то просительно, не то с упреком к матери.

Возмутительная сцена, которую дочери старались предотвратить всевозможными уступками и покорностью, все-таки разыгралась до конца. Лианой овладело справедливое негодование, какое ощущает человек с характером при виде подобного малодушия. Молодая девушка дрожала уже не от страха – было что-то уверенное в движении, с которым она подняла руку, серьезно уговаривая мать. Но проповедь ее была гласом вопиющего в пустыне: крики и хохот продолжались.

Дверь в соседнюю комнату действительно отворилась, и Лиана побежала к ней.

– Уйди, Магнус, останься там! – попросила она детски растроганным голосом и с нежностью постаралась удержать входившего брата.

На самом деле не требовалось большой силы, чтобы не впустить в комнату этого худенького, деликатного молодого человека.

– Пропусти меня, маленький Фамулус, – сказал он ласково; умное лицо его светилось радостью. – Я все слышал и принес пособие.

Но при виде графини, бившейся в судорогах на диване, он невольно остановился на пороге.

– Мама, успокойся, – сказал он несколько дрожащим голосом, подходя к ней. – Ты можешь заплатить за вино. Вот деньги, пятьсот талеров, милая мама!

И он высоко поднял руку, в которой держал банковские билеты.

Ульрика тревожно глядела ему в лицо; она сильно покраснела, но брат этого не заметил. Он небрежно бросил деньги на диван, где лежала мать, и развернул принесенную с собой книгу.

– Посмотри, душа моя, вот она, наконец! – сказал он растроганной Лиане.

Лежавшая на диване графиня начала успокаиваться. Со стоном провела она по глазам рукой, и сквозь сжатые пальцы ее взгляд, вдруг сделавшийся сознательным, устремился на книгу, которую сын держал в руке.

– Только не возгордись, мой милый маленький Фамулус! – проговорил Магнус. – Наша рукопись возвращается к нам изящным изданием. Она одобрена наукой и победоносно проходит сквозь перекрестный огонь критики; Ах, Лиана, прочти письмо издателя!

– Молчи, Магнус! – сурово и повелительно прервала его Ульрика.

Но графиня Трахенберг уже сидела на диване.

– Что это за книга? – спросила она. Ни в грозных чертах ее лица, ни в повелительном голосе не было заметно и следа только что прекратившегося истерического припадка.

Ульрика поспешно взяла из рук брата книгу и обеими руками прижала ее к груди.

– Это сочинение об ископаемых растительного царства, написанное Магнусом, а Лиана снабдила его рисунками, – объяснила она коротко.

– Подай сюда, я хочу ее видеть!

Взглянув с упреком на брата, Ульрика подала нерешительно книгу; Лиана же побледнела и, судорожно сжав свои тонкие пальцы, закрыла ими лицо: она с самого детства привыкла бояться этого выражения на лице матери, как едва ли боялась адских мук, которыми грозила ей когда-то няня.

– «Ископаемые растения, сочинение графа Магнуса фон Трахенберга», – громко прочла графиня.

Гневно сжав губы, она с минуту пристально и уничтожающим взглядом смотрела поверх книги в лицо сына.

– А где же имя художника? – спросила она, повертывая заглавный лист.

– Лиана не захотела печатать своего имени, – сказал молодой человек совершенно спокойно.

– А, так хоть в одной из этих голов нашлась искра здравого рассудка, слабое сознание своего положения!

Она принужденно захохотала и отбросила от себя толстый том с такою силой, что он с шумом пролетел сквозь открытые окна на каменные ступени террасы.

– Вот где место этой чепухе! – воскликнула она, указывая на книгу, которая при падении открылась на одном из великолепных рисунков, изображавших допотопный папоротник. – О, трижды счастливая мать, какому сыну дала ты жизнь! Слишком малодушный, чтобы сделаться солдатом, слишком ограниченный, чтобы быть дипломатом, он, потомок князей Лютовицких, последний граф Трахенберг, унижает себя до того, что сочиняет книги за плату!

Со страстным порывом неудержимого горя Лиана обвила своими руками худенькие плечи брата, который, видимо, всеми силами старался сохранить наружное спокойствие при этих оскорблениях.

– Мама! Как можешь ты оскорблять Магнуса? – вспыхнула молодая девушка. – Ты называешь его малодушным? Но не он ли семь лет тому назад, с опасностью для собственной жизни, вытащил меня из пруда? Да, он решительно отказался от военной службы, но только потому, что его кроткое и мягкое сердце противится кровопролитию... По-твоему, он слишком ограничен, чтобы быть дипломатом, – он, неутомимый и глубокий мыслитель? О мама, как ты жестока и несправедлива к нему! Он ненавидит лицемерие и не хочет осквернять своего благородного и высокого ума шахматными ходами дипломатического искусства... Я тоже горжусь, очень горжусь своим старинным родом, но никогда не пойму, почему дворянин должен непременно владеть мечом или быть дипломатом.

– А теперь я спрошу, – прервала сестру Ульрика, выходявшая поднять книгу, – что достойнее имени Трахенбергов – быть ли творцом замечательного труда или считаться в числе неоплатных должников?

– О, ты! – прошипела графиня, задыхаясь от гнева. – Ты, бич моей жизни! – И она, как безумная, несколько раз пробежала по залу. – Впрочем, не понимаю, что же заставляет меня жить с тобою, – сказала она вдруг со зловещим спокойствием. – Ты уже давно пережила тот возраст, когда цыпленку нужно еще покровительственное крыло матери. Я слишком долго терпела тебя, теперь даю тебе волю, неограниченную волю. Поезжай, если хочешь, в продолжительное путешествие по всему свету, ступай куда угодно, только поторопись очистить мой дом от твоего присутствия!

Граф Магнус схватил руку девушки. Все трое – брат и две сестры – стояли, дружно обнявшись, перед бессердечной женщиной.

– Мама, ты вынуждаешь меня в первый раз заявить о моих правах как наследника Рюдисдорфа, – сказал тихий, кроткий ученый, покраснев от волнения. – Пред лицом кредиторов только я имею право на замок, и на доходы с него... Ты не можешь лишать Ульрику родного крова, – она остается у меня.

Графиня повернулась к нему спиной и направилась к двери. Сын был так неоспоримо прав, что у нее не нашлось ни одного слова для возражения. Она

уже взялись было за ручку двери, но вдруг обернулась к нему еще раз.

– Ты не смей ни одного гроша из этих предательских денег смешивать с нашей расходной кассой! – приказала она Ульрике, указав на лежавшие на диване пятьсот талеров. – Я лучше с голоду умру, нежели дотронусь до чего-нибудь, купленного на эти деньги... За вино я сама заплачу. Слава Богу, у меня довольно еще серебра, уцелевшего от крушения. Пусть же это серебро, на котором ели мои предки, будет обращено в деньги, по крайней мере, мне будет утешением сознание, что я чисто по-княжески угощаю гостей, а не на заработанные деньги... Ты не замедлишь получить достойное наказание, – обратилась она к Лиане, – за то, что и ты восстала против матери! Переезжай только в Шенверт! Рауль, а еще более его старый дядя, Майнау, вытрясут из тебя сентиментальные и ученые бредни.

С этими словами она вышла, так сильно хлопнув дверью, что эхо этого стука разнеслось по всем сводам отдаленных коридоров.

Глава 4

Прошло пять недель после этой сцены в замке Рюдисдорф. Теперь в нем шли большие приготовления к свадьбе. Лет шесть тому назад при подобном событии этот стеклянный замок походил бы на муравейник, потому что графиня любила окружать свою особу такой массой раболепствовавшей перед ней прислуги, как какой-нибудь индийский раджа. Лет шесть тому назад златокудрая фея встретила бы своего жениха со сказочным великолепием, роскошнейшими пиршествами в залитых морем огней обширных залах замка; теперь же жених брал свою невесту из глубины запущенных садов, из опустелого замка, украшенного статуями, мраморные колонны которого, свидетели минувшего счастья, затянуты были паутиной, точно грязными занавесами... В большом зале арендатор ссыпал зерновой хлеб; все окна были закрыты белыми ставнями, и, если сквозь них проникал солнечный луч, он падал на невыметенный паркет и совершенно пустые стены.

Хорошо еще, что гордые предки с их панцирями, шлемами и шляпами, украшенными перьями, на рыжих волосах, и дамы в воротниках а ля Мария Стюарт и в пышных платьях из золотой парчи не могли выглянуть из роскошных

рам, которыми украшалась портретная галерея, и бросить взгляд в зал, прилежавший к террасе, – они, наверное, выронили бы роскошные веера из павлиньих перьев или бледную розу из своих белых нежных пальцев и в ужасе всплеснули бы руками, потому что там, перед старинною мебелью, на коленях стояла Ульрика – настоящая Трахенберг, как называла ее графиня-мать, – и обдирала старую, съеденную молью обивку с дивана и кресел, заменяя ее пестрым ситцем, который прибавала сама, своими графскими руками. Старая Лена усердно вытирала с мебели пыль, стараясь придать ей более лоску. Благодаря вовремя присланным издателем деньгам стояли тут новые соломенные кресла и плетеные подставки для цветов. По белым стенам опять вился зеленый плющ, а из групп широколистных растений спускались до самого пола ветви клематиса и дикого винограда. В пустом до того помещении стало снова так мило и уютно, как и подобало быть в зале, где назначен завтрак после венчания.

Во время этих приготовлений Лиана, вооружившись маленьким заступом и жестяным ящичком для растений, ходила вместе с братом по лесам и полям, собирая растения для гербария, точно до этих свадебных приготовлений ей не было никакого дела. Брат же ее, созерцая чудеса природы, совершенно забыл, что его маленький Фамулус, никогда с ним не разлучавшийся и всегда вместе с ним трудившийся, теперь должен будет покинуть его; а с уст сестры часто слетали латинские названия или критические замечания, но ни разу не было произнесено имя жениха. Странная была л о невеста!

В родительском доме ей иногда случалось слышать имя Майнау, один из князей Лютовицких был женат на ком-то из Майнау, но между отдаленными родственниками никогда не существовало близких отношений. Вдруг графиня Трахенберг стала получать из Шенверта письма, на которые очень ревностно отвечала, и однажды ее сиятельство объявила своей младшей дочери, что дальний родственник ее, барон фон Майнау, просит ее руки, на что и получил согласие графини; а чтобы не допустить никаких возражений, она заявила, что и сама была помолвлена точно так же и что это единственная приличная их положению форма помолвки... Потом неожиданно приехал и жених. Лиана едва успела прикрыть большими бархатными бантами растрепавшиеся от ветра волосы, как ее позвали в комнату матери. Что потом было – она смутно помнила. Высокий красивый мужчина, стоявший до ее появления в оконном простенке, пошел ей навстречу; весеннее солнце, светившее в окно, было так ослепительно, что она принуждена была потупить глаза. Потом он отечески, дружественно говорил с ней о чем-то и, наконец, протянул ей руку, в которую она по приказанию матери, а еще более по предшествовавшим тайным и неотступным

просьбам Ульрики положила свою руку. Тотчас же вслед за этим он уехал, к несказанному удовольствию графини Трахенберг, мысли которой во время помолвки, точно привидения, носились в пустых погребках, где виднелись только бутылки со смородиновой наливкой; а старая Лена напрасно ломала себе голову, как бы ухитриться приготовить обед для графского стола, имея в запасе всего пяток яиц да остаток жареной телятины.

Все, что касалось свадьбы, было решено женихом и матерью невесты письменно, и только свадебный подарок сопровождался коротенькой запиской к Лиане, запиской, правда, изысканно вежливой и любезной, но зато холодной и формальной. Да и Лиана пробежала ее равнодушно, и с тех пор эта записка лежала в ящике вместе с подарком.

Все было так безукоризненно прилично и так «аристократично», а «повиновение» Лианы так беспрекословно, что графиня осталась вполне довольна, и через несколько дней после бурной сцены стала опять обедать вместе с детьми и даже иногда обращалась к ним с милостивым словом. Конечно, она не знала, как сильно страдала молодая девушка от предстоящей разлуки; впрочем, она умела скрыть это даже и от брата с сестрой...

Настал день свадьбы. Проснувшееся июльское утро было пасмурно и сыро. После жарких сухих дней шел освежительный дождик и серебристыми каплями падал на широкие листья растений и пестрые лужайки. На ветках деревьев и кустарников и на крыше замка громко чирикали птички, а старая Лена, хлопотавшая около плиты, загляделась в окно, радуясь, что венок невесты будет окроплен дождем.

Одна только карета, да и та нанятая на ближайшей станции железной дороги, подъехала к крыльцу Рюдисдорфского замка. Пока она отъезжала и, наконец, скрылась в одном из громадных пустых сараев, двое приезжих медленно поднялись на крыльцо замка. Барон Майнау был чрезвычайно аккуратен: он приехал, как было условлено, за полчаса до венчания.

– Господи помилуй, и это жених! – вздохнула старая Лена и отошла подальше от окна.

Наверху широко растворилась стеклянная дверь, и графиня поспешила навстречу гостям. Дождевые капли падали на ее темно-фиолетовое бархатное

платье с длинным шлейфом и сверкали на взбитых черных волосах рядом с несколькими, еще уцелевшими от крушения, бриллиантами. С томным взглядом приветливо протянула она барону тонкие, изящные руки в богатых кружевах, и кто бы мог вообразить, что эти руки в минуты бешенства способны были с силою фурии швырнуть тяжелый предмет и пробить им стеклянную раму.

От дождя приезжие укрылись в комнате графини, и там Майнау представил ей своего шафера, господина фон Рюдигера. Среди веселой болтовни светского разговора раздавались крики ара в оконной нише, а на выцветшем ковре, ворча, играли два крошечных белоснежных пуделя... Если бы не гирлянда, которую сплела старая Лена, чтобы украсить к приезду жениха входную дверь, и не княжески роскошный туалет графини, никому не пришло бы в голову, что в этом доме готовится брачное торжество, – так пуст и банален был разговор графини, так равнодушно, спокойно и неподвижно стоял у окна жених в элегантном черном фраке и смотрел на двор замка, где теперь снова воцарилась тишина, прерванная только на минуту шумом колес привезшего его экипажа. Хотя Рюдигеру известно было, при каких условиях заключался этот брак, и он был слишком светским человеком, чтобы не находить все это в порядке вещей, эта страшная пустота и безмолвие пугали маленького подвижного господина, и он вздохнул свободно только тогда, когда наконец медленно и торжественно отворилась противоположная дверь.

Вошла невеста под руку с братом и в сопровождении Ульрики. Вуаль закрывала лицо и падала ей на грудь, а сзади касалась подола ее скромного белого тюлевого платья с высоким воротом, кое-где подколотого миртовыми букетиками, да несколько веток мирта украшали ее голову. Напрасно ваш взгляд стал бы искать тяжелого, затканного серебром подвенечного туалета. Бедная невеста из бюргерской семьи не могла бы придумать себе более скромного наряда. Она вошла с опущенными глазами, а потому не заметила сначала удивленного, а потом сострадательно-насмешливого взгляда, которым смерил ее барон Майнау, но она невольно содрогнулась, когда мать с ужасом окликнула ее:

– Что это значит, Лиана? На кого ты похожа?.. С ума ты сошла?

Таково было благословение, которым разгневанная графиня приветствовала молодую девушку, готовившуюся сделать решительный шаг в своей жизни. Она казалась до того взволнованной, что забыла все, и уже подняла было руку, чтобы вытолкнуть дочь за порог.

– Ты сейчас же возвратишься в свою комнату и переоденешься!..

Но тут она невольно замолчала: барон Майнау сжал ее дрожавшую руку; он не сказал ни слова, но взглядом и движением так энергично и красноречиво запрещал дальнейший разговор по этому предмету, что графине поневоле пришлось уступить.

Из-за притворенной двери выглядывала старая Лена и, затаив дыхание, ждала минуты, когда жених заключит в свои объятия ее «прекрасную стройную графиню» и в первый раз поцелует ее, но «этой дубине» и в голову не приходило приветствовать свою невесту поцелуем; он ограничился тем, что сказал ей несколько ласковых слов, поднес как бы нехотя к губам ее руку, едва коснулся ее, точно боялся сломать эти хрупкие пальчики, и подал ей букет великолепных цветов.

– Цветы у нас у самих есть, – ворчала старуха, и взгляд ее машинально скользнул по длинному коридору, усыпанному зеленью и цветами...

Вслед за тем зашуршало злополучное тюлевое платье по рассыпанным розам и герани, а графиня-мать, шедшая под руку с Рюдигером за женихом и невестой, своим тяжелым бархатным шлейфом сметала в кучи эти бедные цветы.

Мраморные изображения апостолов, украшавшие алтарь и кафедру церкви Рюдисдорфского замка, не раз видели бледное, грустное лицо невесты и слышали холодное «да» из уст равнодушного жениха, потому что в роде Трахенбергов не существовало обычая не только поощрять «сентиментальную любовь», но даже осведомляться – по сердцу ли невесте избранный для нее жених.

Но такой скромной, без пения и органа, свадьбы не было здесь еще никогда. Жених решительно отклонился от всех лишних свидетелей и любопытных зрителей, которые любят пересуживать жениха и невесту. А им было бы о чем пошептаться друг с другом: красивый господин хотя и рыцарски вежливо подвел к алтарю свою невесту, но не удостоил ее ни одним взглядом; только раз, когда они преклонили колена, принимая благословение, казалось, глаза его на минуту остановились на невесте, при виде ее длинных, густых кос, которые, подобно красновато-золотистым змеям, извиваясь вдоль ее платья, лежали на белых плитах пола.

И как торопился он по окончании обряда! Священник слишком долго говорил, а надо было непременно поспеть на следующий поезд... Дождь усилился, и монотонный звук капель, ударявших в пестрые стекла церковных окон, был единственной музыкой, сопровождавшей брачный обряд. Но под конец его солнце проглянуло сквозь серые тучи и заискрилось разноцветными огнями в брызгах фонтана, осветило темную длинную аллею, высокую траву на лужайках, и под его теплым дыханием исчезли все серебристые росинки с цветов, нежный луч солнца заиграл на львиных головах массивного серебряного холодильника, единственного представителя блестящего прошлого, стоявшего на столе в зале, где был приготовлен свадебный завтрак. Завтракали стоя. Сестры и брат ни к чему не прикасались и не принимали участия в общем разговоре. Они стояли вместе, разговаривая вполголоса, и граф Магнус, с глазами полными слез, держал руку Лианы – только в эту минуту, казалось, понял он свою утрату.

– Юлиана, могу я просить тебя поторопиться? Пора ехать! – сказал вдруг барон Майнау, прерывая разговор.

Он подошел к своей молодой жене и показал ей часы, ослепившие ее холодным блеском крупных бриллиантов. Она испуганно вздрогнула, – в первый раз этот голос произнес ее имя; правда, он говорил ласково, но как чуждо и холодно звучало оно в его устах! Даже строгая и бездушная мать никогда так не называла ее... Она слегка поклонилась ему и всем присутствующим и в сопровождении Ульрики вышла из зала.

Молча и торопливо, будто преследуемые, поспешили сестры вверх в свою общую комнату.

– Лиана, он страшен! – вскричала Ульрика, когда дверь за ними затворилась, и, залившись потоком слез, обыкновенно спокойная и невозмутимая девушка бросилась на диван и скрыла свое лицо в его подушках.

– Тише, тише, не надрывай моего сердца!.. Разве ты ожидала чего-нибудь другого? Я же – нет, – убеждала ее Лиана, и горькая улыбка мелькнула на ее побледневшем лице.

Она осторожно сняла с головы миртовый венок и положила его в ящик, где до сих пор хранились разные вещицы – воспоминания из ее институтской жизни... Через несколько минут подвенечный наряд заменен был серым дорожным

платьем и круглой шляпой с густой вуалью, подвязанной у шеи бантом, а изящные ручки затянуты в перчатки.

– А теперь пройдем в последний раз к отцу, – сказала торопливо Лиана и взяла зонтик.

– Подожди еще минуту, – просила Ульрика.

– Не задерживай меня, я не должна заставлять Майнау ждать, – возразила серьезно Лиана.

Она обняла сестру и вместе с нею вышла из комнаты.

Так называемая мраморная галерея находилась в бельэтаже, как раз над террасой, примыкавшей к залу, где подавался свадебный завтрак.

В полусвете от затворенных ставней сестры прошли всю ее длину и достигли противоположного конца, где дневной свет скупно просвечивал сквозь узенькие щели ставней и бросал бледные полосы на блестящий как зеркало красивый мраморный пол. Ульрика бесшумно отворила ставень. Оставляя в тени все портреты этих красноволосых рыцарей, свет сосредоточился на изображении почтенного старика, сидевшего у темного бархатного занавеса, положив на стол полную белую руку. Отличительная черта рода Трахенбергов – огненно-рыжий цвет волос и усов – заменилась здесь необыкновенно мягким серебристым оттенком.

– Милый, милый папа, – шептала Лиана, простирая к нему сложенные руки.

Она была его любимицей, его сокровищем, его гордостью, сонная головка девушки часто покоилась на его груди, и даже во время борьбы со смертью ее одну ласкала его холодеющая рука.

Сбоку виднелся другой портрет, на котором изображена была высокая, худая, неподвижная женская фигура; длинный шлейф ее платья был окаймлен горностаем, желтый цвет обнаженных плеч резко отделялся от белого меха, на взбитых волосах была надета маленькая корона. То была бабушка Лианы с отцовской стороны, тоже принцесса одного из мелких германских княжеств. Под

туго стянутой шнуровкой билось сердце, которое ни разу в жизни не было согрето теплым чувством любви; ясные глаза безжалостно смотрели на внучку, с разбитым сердцем и слезами оставлявшую старый родовой замок, чтобы вступить в блестящую обстановку богатой жизни. Сухая рука, державшая веер, осыпанный бриллиантами, простерта была в глубину зала, как будто указывая на весь этот ряд портретов, бабушка хотела сказать: «Это все супружества по расчету со знаменитыми родами, – не в любви их призвание, а в уменье вечно властвовать...»

И новобрачной почудилось, как будто шепот пробежал по устам предков, но то был только сквозной ветер, ворвавшийся в отворенное окно и пробежавший по бесконечной галерее... Внизу, на террасе, раздались торопливые мужские шаги и смолкли как раз под окном галереи. Сестры украдкой взглянули вниз. Барон Майнау стоял вполоборота у перил террасы и смотрел вдаль; теперь он вовсе не походил на холодного, сдержанного жениха, так пунктуально и безукоризненно совершившего все формальности брачного обряда. Он, видимо, старался сбросить с себя все то, что хотя бы на короткое время принудило его гордую и пылкую натуру сыграть шаблонную роль. Он, совершенно готовый к отъезду, курил сигару, голубоватый дымок которой поднимался до самой мраморной галереи.

– Я не говорю «красавица». Боже мой, слово это имеет слишком обширное и условное значение! – говорил его друг Рюдигер, высокий, мягкий голос которого уже раньше доносился отдельными звуками до сестер, теперь же ясно и отчетливо слышалось каждое его слово. – Конечно, у этой Лианы нет ни греческого, ни римского носа, да что до этого! Ее личико и без того чрезвычайно мило.

Барон Майнау пожал плечами.

– Гм, пожалуй, – сказал он неузнаваемым, насмешливым тоном, – скромная и добродетельная девочка, робкого характера, с мечтательным выражением лица и бледно-голубыми глазами а ля Лавальер, – чего же еще!

Он вдруг остановился и быстрым движением руки указал на открывавшийся ландшафт.

– Посмотри-ка лучше сюда, Рюдигер! У того, кто планировал Рюдисдорфский парк, была гениальная голова! Ничто не могло бы придать более эффекта архитектуре a la Renaissance, как эти чудесные группы букowych деревьев.

– Э, что там! – с досадою возразил Рюдигер. – Ты знаешь, что я в этом ничего не понимаю. То ли дело прекрасные глаза или прекрасные волосы женщины, вот, например, что за чудные косы лежали сегодня пред алтарем, у твоих ног!

– Несколько полинявший оттенок трахенбергского фамильного цвета, – равнодушно ответил Майнау. – Пожалуй, тициановские волосы теперь в моде, и новейшие романы изобилуют рыжеволосыми героинями, и все они любимы, – конечно, это дело вкуса!.. У моей возлюбленной подобное было бы немислимым, но у жены!..

Он отряс пепел сигары о перила и спокойно продолжал курить.

Лиана инстинктивно скрыла свое лицо под густой вуалью; даже сестра, с невыразимой болью смотревшая вниз на говорившего, не должна была видеть краски стыда и унижения, залившей ее щеки.

Еще ниже, в цветнике, графиня Трахенберг прогуливалась с пастором. Окончив свой разговор с ним, она быстро приблизилась к террасе и стала медленно подниматься по ступеням.

– На одно слово, дорогой Рауль! – попросила она, взяв его за руку.

Медленно прохаживаясь с ним по террасе, болтала она об отвлеченных предметах, пока Рюдигер и пастор не удалились настолько, что не могли услышать ни одного ее слова.

– A propos, – сказала она вдруг, остановившись. – Ты не сочтешь меня нескромной за то, что взволнованное сердце матери побуждает меня в последнюю минуту, затронуть несколько щекотливый вопрос... Могу я узнать, сколько ты назначаешь Лиане «на булавки»?

Сестры могли видеть, как насмешливо взглянул он на женщину с взволнованным материнским сердцем.

– Столько же, сколько давал моей первой жене: три тысячи талеров.

Графиня одобрительно кивнула головой.

– О, ей остается только радоваться; когда я выходила замуж, я столько не получала!

Майнау насмешливо улыбнулся ее глубокому вздоху, которым она сопровождала свое восклицание.

– О, не правда ли, Рауль, ты будешь сколько-нибудь добр к ней? – прибавила она с притворной чувствительностью.

– Что вы хотите этим сказать, тетушка? – спросил он, замедляя шаги и бросив на нее недоверчивый взгляд. – Разве вы считаете меня настолько бестактным, что допускаете, будто я могу забыть уважение, которое обязан оказывать женщине, носящей мое имя?.. Но если вы требуете чего-нибудь большего, то это будет против нашего уговора. Мне нужна мать моему ребенку и хозяйка в моем доме, которая могла бы заменить меня в мое отсутствие, а я, быть может, надолго, очень надолго отлучусь. Все это вы знали, когда рекомендовали мне Юлиану как кроткое женственное существо, вполне соответствующее моим желаниям... Любить ее я не могу, но буду настолько добросовестен, что не стану возбуждать любви и в ее сердце.

Заливаясь горькими слезами, обняла Ульрика сестру и прижала ее к своему сердцу.

– Бога ради, не раздражайся так, Рауль! – просила струсившая графиня. – Ты совершенно не понял меня. Кто и говорит о сентиментальностях? Уж я, конечно, менее всех думаю о них... Я только просила твоего снисхождения к ней. Ты сегодня сам видел, до чего может дойти эта «вечно женственная натура», – сыграть такую шутку со своим подвенечным нарядом.

– Оставьте это тетушка: в этом случае Юлиана могла действовать, как ей было угодно. Пусть и всегда так поступает, если только будет уметь применяться к обстоятельствам...

– За это я ручаюсь... Боже, невыразимо грустно признаться, но Магнус – колпак, человек без всякой энергии, нуль, и именно те качества, которые я в нем презираю, украшают его сестру. Лиана необыкновенно простодушное дитя, и, когда Ульрика, этот злой гений моей семьи, не будет иметь на нее влияния, ты можешь вертеть ею, как захочешь.

– Мама очень быстра в своем приговоре, – сказала с горечью Лиана, когда шаги внизу мало-помалу затихли. – Она ни разу не потрудилась вникнуть в мою духовную жизнь – мы выросли на руках чужих людей... Но о чем ты плачешь, Ульрика?. Мы не имеем права бросить камнем в этого бездушного эгоиста. Разве я спрашивала свое сердце, когда отдавала ему руку? Я сказала «да» из страха перед мамой.

– И из любви ко мне и Магнусу, – добавила Ульрика еле слышно, как бы изнемогая от отчаяния. Мы употребили все усилия, чтобы уговорить тебя; мы хотели спасти тебя от ада домашней жизни, не сомневаясь ни одной минуты, что тебя должны полюбить везде, куда бы ни забросила тебя судьба, а теперь, к несчастью, я вижу, что в любви тебе будет отказано. Ты, такая молодая...

– Молодая?.. Ульрика, мне в будущем месяце будет уже двадцать один год; мы много горя пережили вместе, и я далеко не дитя по опыту, уже научилась правильно смотреть на жизнь... Не беспокойся обо мне, я не хочу любви Майнау и настолько горда, что не оставлю его в заблуждении на этот счет. Мой институтский аттестат, свидетельствующий о моих познаниях, особенно о моем знании языков, придает мне мужества; сегодня не баронесса Майнау переезжает в Шенверт, а только воспитательница маленького Лео. Мне предстоит благородная деятельность и, может быть, я буду иметь возможность сделать доброе дело, большего я ничего в жизни не желаю... Простимся теперь, Ульрика, оставайся здесь у отца, а мне приходится покинуть его дом!

Она несколько раз обняла сестру и, вырвавшись из ее объятий, побежала вдоль галереи в комнату матери; там, у окна стоял Магнус и смотрел на подъехавшую к крыльцу карету.

В это время графиня проходила по двору замка с Майнау, Рюдигером и пастором. Хорошо, что она не могла видеть, как ее сын, «колпак», «человек без всякой энергии», с горькими слезами обнимал сестру. В какой гнев привело бы ее это раздирающее душу прощание, которое так мало соответствовало его положению.

Опустив вуаль, Лиана твердыми шагами сошла с лестницы.

– Ступай с Богом, и да сопутствует тебе мое благословение, дитя мое! – сказала графиня с театральным жестом и коснулась рукой до головы дочери, потом приподняла вуаль и запечатлела на лбу ее холодный поцелуй.

Через несколько минут карета уже катилась по шоссе, ведущему к ближайшей станции железной дороги.

Глава 5

После четырехчасового пути путешественники приехали в столицу. Тут молодой женщине представилась новая жизнь во всем своем обаянии. Для переезда в Шенверт, находившийся от столицы на расстоянии одного часа пути, был выслан необыкновенно изящный и роскошный экипаж, мягкие подушки которого, обитые белым атласом, как бы предназначались лелеять избалованную роскошью красавицу; а Лиана в своем простом сером дорожном платье скорее походила на дочь какого-нибудь угольщика, которую сказочный принц похитил в лесу, чтобы перевезти в свой замок.

В то время когда Рюдигер садился рядом с Лианой, Майнау вскочил на козлы и взял вожжи. Он сидел с гордой небрежностью, а управляемые им лошади бешено неслись по широкому гладкому шоссе, прорезывавшему насквозь часть парка... Там, далее, виднелся пруд, и над рыбачьей деревней вилась целая вереница белых голубей... Всюду было тихо и безлюдно. Но вот дорога свернула в самую чащу леса, и только кое-где сквозь густую листву мелькал освещенный ярким солнцем красивый пейзаж. Вдруг шагах в пятидесяти от них выехала из чащи на шоссе амазонка – казалось, она поджидала летевший навстречу экипаж.

– Майнау, герцогиня! – крикнул Рюдигер, вскочив в испуге, чудные рысаки бешено летели, но барон Майнау ловким движением уже успел сдержать их, и они шли теперь мерным шагом.

Из леса выехала другая амазонка и последовала за герцогиней. Они быстро приближались. В ту минуту герцогиня походила на ангела смерти, скачущего на коне по бранному полю: длинная черная бархатная амазонка ее развевалась по воздуху; черные с синеватым отливом волосы были собраны на затылке, а прекрасное лицо смертельно бледно, и даже губы казались бескровными.

– Здравствуйте, барон Майнау! – приветствовала она экипаж.

Майнау отвесил низкий поклон.

Сколько насмешки слышалось в этих словах, произнесенных медленно, звучным женским голосом. Сделала ли герцогиня неосторожное движение, или лошадь ее испугалась чего-то, только вдруг она после бешеного прыжка понесла герцогиню прямо к подножке медленно проезжавшего экипажа.

– Сидите, Рюдигер! – сказала она поднявшемуся Рюдигеру, и, минуя его, ее горящие глаза с беспокойством старались проникнуть сквозь густую вуаль, которая скрывала от нее лицо испуганной молодой женщины.

Вслед за тем, обе наездницы понеслись дальше.

Несколько секунд лошади их бежали рядом, голова в голову, и молодая фрейлина, склонившись к герцогине, сказала бесцеремонно:

– Эта серая монахиня и в самом деле рыжеволосая Трахенберг, ваше высочество!

Шум колес заглушил ее слова, но барон Майнау, оглянувшись, заметил движение молодой фрейлины и улыбнулся. В первый раз увидела Лиана эту гордую улыбку торжества и удовлетворенного самолюбия; в первый раз при ней блеснули его глаза своим опасным огнем. В ту сторону, где сидела его жена, он ни разу не взглянул; но это равнодушие было так естественно и бессознательно, что даже его друг Рюдигер видел в нем совершенное отсутствие напускного спокойствия, в которое Майнау любил драпироваться перед самыми блестящими женщинами высшего круга.

Серые рысаки еще быстрее понеслись дальше по шоссе, как будто бледная герцогиня своим «здравствуйте» превратила в пламя кровь в жилах

управлявшего ими Майнау. Молодая женщина следила за каждым его движением. Встреча в лесу вдруг пролила свет на некоторые обстоятельства – теперь она поняла, почему Майнау не мог любить ее.

Вот они выехали на опушку леса и стали спускаться в Шенвертскую долину мимо парка, далеко превосходившего герцогский парк. На всем его протяжении тянулась тонкая, как паутина, проволочная решетка; а далеко, в глубине, точно из-за серого флера, поднимались величественные группы чужеземных растений; на гигантских кустарниках красовались пурпуровые цветы, точно нитка кораллов в зеленой морской волне. Далее целая стена мимоз лепилась вдоль прозрачной решетки и доходила до вдруг открывшегося удивленному взгляду ярко раскрашенного индийского храма с золотыми куполами. Прозрачные воды большого пруда омывали его широкие мраморные ступени, а на переднем плане, повернувшись к проезжавшему мимо экипажу, пасся на ровно подстриженном прибрежном дерне породистый вол... Все показалось сном, перенесшим вас на мгновение под небо сказочной Индии, но с окончанием решетки сон этот исчезал бесследно, тут опять шумели вековые липы, темные сосны простирали длинные ветви над покрытыми клевером лугами.

Еще один поворот сквозь темный разросшийся можжевеловый кустарник – и экипаж покатился по ровному, усыпанному гравием двору и остановился прямо у подъезда Шенвертского замка.

Несколько лакеев в парадных ливреях бросились к экипажу, а дворецкий в черном фраке и белом жилете откинул с низким поклоном подножку.

Несколько лет тому назад Лиана была невидимой свидетельницей того, как молодой лесничий, привезший свою молодую жену в Рюдисдорф, с восторгом поднял ее из экипажа и понес на руках в свой дом; ее же муж, передав вожжи груму, холодно, хотя и очень любезно, взял, едва прикасаясь, ее правую руку и повел новую баронессу по широким ступеням Шенвертского замка.

Ей казалось, что она вошла в собор: так величественно поднимались своды над ее головою! И сходство это еще более усиливалось от света, проникавшего сквозь разноцветное готическое окно и отражавшегося на стенах, покрытых живописью духовного содержания. Здесь он освещал пурпуровое одеяние Богоматери, в другом месте – пальмовый венок над Святым семейством, там, бросив косо луч на красную порфиновую стену, ложился на широкий, во всю лестницу, разостланный ковер, такой мягкий и так плотно прилежавший к

ступеням: все это в совокупности усиливало впечатление и поддерживало характер церковного стиля – а именно византийского в его последнем периоде.

Не успел Майнау войти в парадное, как взгляд его с удивлением и гневом остановился на дворецком. С низким поклоном и, не смея поднять глаз на своего повелителя, тот робко и с замешательством прошептал в свое оправдание:

– Я не смел, господин барон не позволили дотрагиваться до оранжереи, а гирлянды приказали снять в память покойной баронессы.

Яркий румянец вспыхнул на лице барона Майнау. Испуганные лакеи поспешили бесшумно удалиться, только один злополучный дворецкий должен был остаться на своем посту...

Но ожидаемая буря ограничилась на этот раз насмешливой улыбкой, мелькнувшей на губах красавца барона.

– Я осрамлен, Юлиана, – сказал он дрожащим от волнения голосом, – я бессилен этому противиться. В Рюдисдорфе наша дорога была усыпана цветами; здесь же ничем подобным не почтили твоего приезда. Извини дядю: эта высокочтимая им покойница была его дочь.

Он не дал Юлиане времени ответить. В сопровождении дворецкого и покачивавшего головой Рюдигера он быстро повел молодую женщину вверх по лестнице через парадные залы, к которым примыкала великолепная зеркальная галерея. Лиана видела себя под руку с высоким, гордым бароном, по виду и манере они были парой, но какая неизмеримая пропасть лежала между ними, союз которых, хотя и основанный на одном расчете, был только что освящен церковью. Дворецкий торжественно распахнул перед ними обе половинки входной двери. У Лианы закружилась голова. Несмотря на толщину каменных стен и высокие своды, в галерее было душно и жарко. Палящие лучи июльского солнца падали прямо на незанавешенные стекла многочисленных окон, а тут еще, на противоположном конце зала, топился камин. Пушистые ковры покрывали стены и полы, драпировали окна и двери, кроме того, последние были еще герметически обиты; все свидетельствовало о стараниях о том, чтобы внешний воздух не мог проникать сюда, и в этой удушливой атмосфере, напоенной вдобавок разными эссенциями, сидел перед пылавшим камином старик. Ноги его, завернутые в стеганое шелковое одеяло, казались

безжизненными, между тем как верхняя часть туловища сохранила юношескую грацию и подвижность. Он был в черном фраке и белом галстуке. Маленькое умное лицо его было болезненно-бледно, и эта бледность еще более усиливалась от смешения золотисто-красного солнечного света с бледно-желтым светом топившегося камина. То был гофмаршал барон фон Майнау.

– Любезный дядюшка, позволь представить тебе мою молодую жену, – сказал Майнау довольно лаконично, между тем как Лиана подняла вуаль и поклонилась.

Маленькие карие глазки старика пристально впились в нее.

– Ты знаешь, любезный Рауль, – возразил он медленно, не отрывая глаз от покрасневшей Лианы, – что я не могу приветствовать эту молодую особу как твою жену, пока союз ваш не будет освящен нашей церковью.

– Ну, дядюшка, – ответил Майнау, – я только сию минуту узнал, что твое ханжество простирается так далеко, иначе я сумел бы предупредить подобную встречу.

– Та-та-та, не горячись, любезный Рауль! Это дело веры, о которой благородные натуры не спорят, – добродушно проговорил гофмаршал; очевидно, он трусил гневного голоса своего племянника. – Пока я приветствую ее, как графиню Трахенберг... Вы носите знаменитое имя, графиня, – обратился он к Лиане.

Говоря так, он протянул ей свою правую руку; она заколебалась, боясь прикоснуться к этой бледной руке с несколько искривленными пальцами; не то гнев, не то испуг волновали ее. Она знала, что в этот же день ее брак будет вторично освящен по обряду католической церкви, Майнау были католики, но то, что в этом доме совершенно не признавали действительным протестантского брака, совершенного в Рюдисдорфе, поразило ее как громом.

Старый барон сделал вид, что не заметил ее колебания, и вместо руки взял кончик одной из спустившихся ее кос.

– Посмотрите, что за прелесть! – сказал он любезно. – Не нужно называть вашего знаменитого имени, это верное его отличие – оно блистало еще во времена крестовых походов!.. Природа не всегда так предупредительна, чтобы сохранить

из рода в род отличительный фамильный признак, как у Габсбургов толстая нижняя губа, а у Трахенбергов рыжие волосы.

Сказав эту любезность, он принужденно улыбнулся.

Рюдигер между тем нетерпеливо покашливал, и Майнау быстро повернулся к окну. Там неподвижно стоял маленький Лео, устремив глаза на новую маму; красивый мальчик небрежно опирался на великолепную леонардскую собаку, а в правой руке держал свой знаменитый хлыст. Эта группа вполне достойна была кисти художника или резца скульптора.

– Лео, подойди к милой маме, – приказал Майнау до неузнаваемости взволнованным голосом.

Лиана не стала ждать, чтобы мальчик подошел к ней. В этой ужасной обстановке прекрасное детское личико, хотя и смотревшее на нее враждебно и упрямо, показалось ей отрадой, лучом света. Она быстро подошла к ребенку, нагнулась и поцеловала его.

– Станешь ли ты хоть немного любить меня, Лео? – проговорила она, и в ее умоляющем голосе слышалось рыдание.

Большие глаза мальчика с робким удивлением вглядывались в лицо новой матери, хлыст полетел на пол, и маленькие ручки крепко обвили вокруг шеи молодой женщины.

– Да, мама, я буду любить тебя! – проговорил он со свойственной ему откровенностью и, посмотрев через ее плечо на отца, добавил почти сердито:

– Не правда, папа, она вовсе не похожа на жердь, и косы у нее не такие, как у нашей...

– Лео!.. Неугомонный мальчишка! – оборвал Майнау сына.

Очевидно, он был в большом замешательстве, между тем как старик старался скрыть улыбку. Рюдигер снова сильно закашлял.

– Боже мой, да в чем же провинился этот бедняк? – прервал он вдруг свой дипломатический маневр и указал на темный угол комнаты: там на коленях, перед креслом, стоял, опустив голову, Габриель; сложенные руки его лежали на толстой книге.

– «Месье» Лео был непослушен, а я ничем чувствительнее не могу наказать его, как наказав за него Габриеля, – спокойно сказал дядя.

– Как! Неужели козлы отпущения опять в моде в Шенверте?

– Хорошо, если б они никогда и не выходили из моды! Это было бы и для нас всех лучше, – резко ответил гофмаршал.

– Встань, Габриель, – приказал Майнау, повернувшись спиной к дяде.

Мальчик встал, и Майнау с саркастической улыбкой взял толстый том с легендами, который должен был, по-видимому, читать бедный козел отпущения.

Во время этой тягостной сцены вошел дворецкий. Он нес на серебряном подносе мороженое. Как ни был раздосадован старик, но при виде подноса с мороженым он устремил пытливый взгляд на изящно украшенные серебряные тарелочки и знаком подозвал к себе дворецкого.

– Я проучу этого безмозглого повара, – ворчал он. – Такие горы самого дорогого фруктового мороженого!.. Да он с ума сошел?

– Так приказал молодой барон, – поспешил вполголоса сказать дворецкий.

– Что такое? – спросил Майнау.

Он бросил фолиант на стул и, нахмутив брови, подошел ближе.

– Ничего особенного, мой Друг, – добродушно сказал дядя, бросив искоса робкий взгляд на племянника.

Он покраснел и струсил, как ребенок, несколько раз уже уличенный в одном и том же проступке.

– Пожалуйста, дорогая графиня, снимите вашу шляпку, – обратился он к молодой женщине, – и попробуйте этого ананасного мороженого! Вам не мешает освежиться после утомительного пути.

Лиана ласково погладила курчавую головку Лео и, расставаясь с ним, поцеловала его в лоб.

– Благодарю вас, господин гофмаршал, – сказала она очень спокойно. – Вы пока не признаете за мной ни имени Майнау, ни прав хозяйки дома, а графине Трахенберг условия приличий не позволяют находиться одной в мужской компании. Могу ли я просить вас указать мне комнату, куда я могла бы удалиться до вторичного совершения брачного обряда?

Может быть, старику, опытному дипломату, никогда не приходилось слышать такого энергического ответа, или он менее всего ожидал его от этой более чем скромно одетой и робкой, угнетенной финансовыми обстоятельствами молодой женщины в сером платье, только глаза его широко раскрылись, и всегда хитрое выражение его лица сменилось совершенным недоумением...

Рюдигер злорадно потирал за его спиной руки, а Майнау с удивлением осматривался: неужели это говорила «скромная девочка с робким характером»?

– Э, да вы очень обидчивы, моя милая графиня, – сказал дядя после минутного замешательства.

Майнау подошел к своей молодой жене.

– Ты очень ошибаешься, Юлиана, если думаешь, что в Шенверге кто-нибудь не признает твоих прав как хозяйки дома, – сказал он сдержанным голосом: видно было, что он едва владел собою. – Для меня совершенно достаточно рюдисдорфского венчания, оно навсегда дало тебе мое имя; а что думают об этом в здешних стенах – тебя не должно это смущать. Позволь мне проводить тебя в твои комнаты.

Он подал ей руку и, не обращая внимания на старика, повел ее вон из зала. Пока они проходили по зеркальной галерее, он не говорил ни слова, но на лестнице остановился.

– Тебя оскорбили; поверь, что и мое самолюбие одинаково страдает от этого, – начал он гораздо спокойнее, чем говорил раньше. – Но я прошу тебя помнить, что моя первая жена была дочерью этого больного старика, его единственным ребенком. Второй жене поневоле придется быть предметом ревности родных покойницы. Я буду просить тебя не принимать этого близко к сердцу, пока сила привычки не возьмет своего... Я не могу оставить Шенверта и поселиться с тобой в одном из других моих поместий главным образом потому, что для Лео необходима материнская забота; а он должен здесь жить, – я не могу отнять у деда его единственного внука.

Лиана молча продолжала спускаться с лестницы; она не имела сил говорить с этим черствым эгоистом, который, приковав ее к себе навсегда прочными цепями, не предупреждая даже о тягостной обстановке ее будущей жизни.

– Вы, конечно, поймете, что в данную минуту у меня нет более сильного желания, как удалиться отсюда, – возразила она, указывая через отворенные ворота, мимо которых они проходили, на освещенные солнцем окрестности. – Но этому препятствует сознание, что я своим возвращением в Рюдисдорф сама как бы отрицаю силу неразрывности союза, освященного моей церковью...

– Тебе было бы довольно трудно привести в исполнение такое намерение, – с ледяным хладнокровием перебил ее Майнау, проходя по длинной колоннаде, находившейся в нижнем этаже. – Я не считаю нужным уверять тебя, что не позволил бы безнаказанно компрометировать себя таким поступком... Венчание и развод – и сейчас же одно за другим! Гм!.. Да... сколько бы этот случай доставил пищи добрым людям, и без того уже набожно отрекшимся от моих «странностей» и «эксцентричностей»!.. Я всегда рад душой дать пищу их словоохотливости, и почему же нет? Но на этот раз намерен избежать такого пикантного скандала.

Он оставил ее руку и отворил дверь.

– Вот твои комнаты; осмотри хорошенько, все ли тут по твоему вкусу; каждое твое желание, особенно относительно изменений, будет, разумеется, тотчас же беспрекословно исполнено.

Он вошел вслед за ней и окинул взглядом анфиладу комнат, убранных с изысканной роскошью, и полугневная-полунасмешливая улыбка мелькнула на

его красивых губах.

– Тут жила Валерия, но не бойся, – сказал он своим обычным язвительно-насмешливым тоном, от которого «дамы трепетали, как овечки», – ее душа была слишком легка и воздушна, точно сотканная из дорогих кружев, в которые она любила рядить свое изнеженное тело. К тому же она постоянно парила на крыльях строжайшего благочестия, и теперь она на небе.

Он позвонил горничной и, когда та явилась, представил ее новой госпоже. Сообщив затем Лиане, что через час зайдет за ней, чтобы отправиться к венцу, он, не дожидаясь ее ответа, удалился. В то же время горничная прошла в противоположную дверь, чтобы приготовить все для перемены туалета.

Глава 6

Лиана осталась одна среди незнакомой ей обстановки. В первую минуту она поддалась невольному чувству страха; пробежала по всем комнатам и осмотрела все замки у дверей: нет, она не была пленницей, даже стеклянная дверь одной из, комнат, ведущая в сад, не была заперта, и ничто не мешало ей спастись бегством из этого дома... Бежать? Да разве она не добровольно приехала сюда? Разве не от нее лично зависело сказать «нет», несмотря на грозные взгляды гневной матери и слезные мольбы брата и сестры?.. Она необдуманно поддалась страшному заблуждению, и виной этому была ее институтская жизнь. Большая часть ее институтских подруг, аристократок по рождению, не могли располагать своей рукой: они были уже помолвлены по выбору родителей и вскоре после выпуска выданы замуж. Одна из них, это Лиана знала еще в институте, красивая молодая девушка, всей душой любила молодого бюргера и, несмотря на то, беспрекословно вышла за знатного старика. Под влиянием таких примеров и убеждений, поддерживаемая, с одной стороны, матерью, а с другой – братом и сестрой, Лиана думала, что подобное решение очень естественно. Магнус и Ульрика хотели спасти ее от домашнего ада, и она, позволив себя спасти, не имела ни малейшего права обвинять Майнау в обмане. Ведь и она сама ничего не имела в сердце, кроме желания свято исполнить свои новые обязанности. Только теперь она прозрела. Она навсегда разлучилась с теми, кого любила, и ничто в жизни не могло возместить этой потери. Да, она должна была поддерживать холодные отношения с человеком, с

которым ее судьба была связана навсегда, который не мог любить ее и менее всего желал, чтобы и она когда-нибудь полюбила его... Целая долгая жизнь на чужбине, без малейшей надежды на чье-нибудь взаимное сочувствие!..

Она подняла глаза, и взгляд ее остановился на голубых волнах атласной драпировки потолка. Тут только увидела она, что все стены были обиты той же блестящей материей, и она точно парила в голубом эфире...

Вспомнив, с какой горькой иронией Майнау говорил о своей покойной жене, Лиана невольно подумала, что если жившая тут женщина и была упрямым, избалованным ребенком, то могла в минуты каприза без опасения топнуть ногами и истерически броситься на пол – под ногами ее находился дорогой пушистый ковер, затканый нежными васильками; во всем изящном и кокетливом будуаре не было видно ни полоски дерева или частички стены, везде, куда ни взглянешь, шелковая драпировка и мягкая мебель!.. Лиана отворила окно: эта покойница положительно упивалась благоуханием жасминов – так сильно наполнял он своим ароматом воздух и даже дорогие кружевные гардины и тяжелые драпировки! Кто знает, не встрепенулась ли гневно «легкая, из кружев сотканная, душа, улетевшая на небо» на «крыльях строгого благочестия», в ту минуту, когда вторая жена, отворивши окно, как бы принимала в свое владение эти покои? Тихий голос, подобно жалобному стону, коснулся слуха Лианы. Она затаила дыхание и прислушалась. Вошла горничная и доложила, что все готово для ее туалета.

– Что это такое? – спросила молодая женщина, переступая порог смежной комнаты, когда тот же таинственный звук снова коснулся ее слуха.

Теперь она ясно слышала, что он доносился к ней из окна.

– Там, напротив, на дереве висят золотые арфы, баронесса, – ответила горничная. Лиана посмотрела в окно и покачала головой.

– Но в воздухе так тихо!

– А может быть, этот звук доносится оттуда, где уже несколько лет лежит больная женщина, – заметила девушка, указывая на видневшуюся вдали проволочную решетку, за которой возвышался обелиск красноватого цвета. Я этого не знаю, я сама всего дней восемь как в Шенверте... Конечно, людям до

этого дела нет, только на кухне говорили, что эту женщину содержат здесь из милости, ужасно, говорят даже, что она некрещеная... Я не хожу сама за проволочную решетку и боюсь большого страшного турецкого вола, что там бродит, а по всем деревьям прыгают обезьяны, эти отвратительные животные!.. Фи!

Лиана молча прошла в соседнюю комнату и беспрекословно отдала себя в распоряжение проворной и словоохотливой горничной. Теперь она надела роскошное платье из дорогой, затканной серебром материи, и когда через полчаса она встретила Майнау в голубом будуаре, то он невольно отступил... Эта «жердь» умела носить платья со шлейфом, и у этой «жерди» были античные руки и плечи, которыми она не щеголяла только по совершенному отсутствию кокетства и по чувству скромности, заставлявшему скрывать их под высоким воротом... На роскошных, изящно причесанных рыжеватых волосах лежал венок из флердоранжевых цветов, от чего он казался таким блестящим на голубом фоне стен, точно был обрызган золотистой росой.

– Благодарю тебя, Юлиана, что ты с такой фактурой отказалась от любимой тобою простоты и в моем доме являешься так, как требует этого твое положение, – сказал он ласково, но вместе с тем, не скрывая своего изумления.

Она подняла темные ресницы, и не бледно-голубые глаза, а la Lavalliere, а большие темно-серые звездочки, полные ума и серьезной строгости, пристально смотрели на него.

– Не думайте обо мне слишком хорошо! – сказала она ему; у нее не хватало мужества так свободно говорить ему «ты», как это ему удавалось. – Не из скромности оделась я так просто в Рюдисдорфе к венцу, – назовите это гордостью, высокомерием, как вам угодно... Я очень хорошо знаю, что многие женщины из рюдисдорфской мраморной галереи носили порфиру и шлейфы, и я сама имею на это право, которое всегда сумею удержать за собою... Но потому-то я и не могла надеть на себя этот дорогой подарок (тут она указала на белое, затканное серебром платье) в родительском доме, в котором нам не принадлежит теперь ни одного камня. Я боялась, чтобы шелест его не разбудил моих славных предков, дремлющих в фамильном склепе под алтарем, а теперь-то именно им и нужно спать непробудным сном... Здесь я – представительница вашего имени, ему и приличен ваш подарок.

Майнау закусил губу. С неприятным, почти гневным удивлением смотрел он попеременно то на спокойно говорившие уста, то на смело смотревшие на него глаза.

– Да, но если бы Трахенберги и пробудились, то остались бы довольны, – проговорил он, саркастически улыбаясь. – Их всему свету известная фамильная гордость еще живет и умеет энергически заявлять о себе, это наверно вознаградило бы их за потерю состояния, о которой ты напоминаешь.

Лиана ни слова не ответила ему, но медленно и величественно прошла в дверь, которую он отворил ей с низким, почти ироническим поклоном. Сопровождая ее теперь, Майнау точно переродился: он не походил на того светского человека, который вел ее в Рюдисдорфскую церковь, словно к обеденному столу; не таким он был и в лесу, когда управлял бешеными лошадьми, следил торжествующим взглядом за удалявшейся бледной герцогиней, – в эту минуту происходила в нем та же борьба, которую только что пережила его молодая жена. Он глубоко раскаивался в сделанном им важном шаге, на который решился, поверив обещанию графини, что он получит в Лиане такую жену, из которой может делать все, что захочет... Еще было время, еще его церковь не освятила их союза... Вдруг шелест ее длинного тяжелого шлейфа затих. Лиана остановилась и высвободила свою руку из-под его руки; он тоже вынужден был остановиться и с удивлением посмотрел на нее. Один взгляд на ее побледневшее лицо мог объяснить ему то, что происходило в ней; с выразительной насмешливой улыбкой взял он ее снова под руку и пошел вперед мимо парадно одетой замковой прислуги, выстроившейся шеренгой перед церковною дверью... Значит, его решение было непоколебимо, и она пошла далее, но теперь не как овечка, обреченная на заклятие: гордая бабушка в зале ее предков могла бы теперь порадоваться величественным манерам своей внучки, по спокойному, сдержанному лицу которой нельзя было и предположить, как трепетно билось ее сердце.

С каким блеском был выведен здесь на сцену обман! В самые счастливые дни рюдисдорфского великолепия не видела Лиана такого богатства серебра, которым покрыт был алтарь; тысячи огней горели в люстрах, и вся оранжерея, в чем отказал больной старик для встречи новой госпожи, перенесена была сюда для придания большей торжественности священнодействию. Среди этого леса экзотических растений, покрытых чудными цветами, и тысяч зажженных свечей золотистые лучи заходящего солнца проникали сквозь высокие готические церковные окна, клубились облака фимиама; как сквозь туман, видела Лиана

лица множества присутствующих, в стороне – пунцовое одеяло и лежащие на нем бледные сложенные руки гофмаршала и великолепное облачение священника. Строго и повелительно стоял он на ступенях алтаря; она невольно содрогнулась, приблизившись к нему: точно огненный поток лился из глаз этого человека и глубокий пронизательный взгляд его встретился с ее широко открытыми глазами. Только после ее испуганного движения его взгляд обратился к небу, и над ее головою раздался звучный потрясающий голос; он говорил о вечной любви и преданности – какое кощунство!.. Безыскусные слова рюдисдорфского пастора успокоили было ее, эта же восторженная речь придворного проповедника пролила яркий свет на притворство и ложь, под прикрытием которых совершался настоящий союз, и каждое слово проповеди, как острый нож, входило в самое сердце. Молодая женщина трепетала перед священником, огненные глаза которого не отрывались от нее, и, сама не зная зачем, она вдруг прикрыла подвенечной вуалью грудь и плечи.

Но вот кончился и этот день, самый тягостный и роковой во всей ее жизни. Настала давно желанная минута, когда она могла запереть двери отведенных для нее комнат, отделявших ее от всех обитателей замка. Отпустив горничную и сняв свой подвенечный наряд, она надела белый пеньюар. Спать она не могла – она чувствовала свое одиночество, ее мучила тоска по своим, и ей страстно хотелось увидеть, подержать в руках хотя бы какой-нибудь предмет, привезенный с собой... Нервно, дрожащими руками открыла она маленький сундучок, поставленный в зале по ее желанию. Сверху лежала тетрадь латинских сочинений, написанных ею; она невольно вздрогнула и бросила робкий взгляд на большой портрет, висевший против нее, – это был он, этот красавец, с загадочным лицом, на котором постоянно чередовались огонь страстей и ледяной холод, выражение душевной доброты и язвительной насмешки! Эти противоречия наводили на нее ужас. Она торопливо свернула рукопись: даже эти нарисованные на портрете глаза не должны были видеть написанного ею.

«Майнау вытрясет из тебя твои ученые бредни!» – припомнились ей слова графини Трахенберг.

Не далее как сегодня за ужином, рассуждая об эмансипации женщин, Майнау с презрением заявил, что не знает, которая из женщин более заслуживает осуждения – та ли, которая не исполняет своих материнских обязанностей, кокетничая и предаваясь удовольствиям, или та, которая выгоняет из своей комнаты детей, чтобы сочинять стихи, писать ученые статьи. Чернильное пятно

на руке женщины не сноснее для него дурного обеда.

Она подошла к письменному столу, чтобы скрыть в нем от посторонних глаз этих немых свидетелей своей прежней духовной деятельности. Стол был из розового дерева – самое образцовое произведение, какое когда-либо выходило из-под руки художника. Каким мыслям предавалась, сидя тут, воздушная, беспокойная душа умершей?.. Доска стола почти гнулась под тяжестью дорогих безделушек и статуэток, из которых каждая была более или менее легкомысленного содержания и резко противоречила строгому благочестию. Лиана с трудом выдвинула один из ящиков стола; он был доверху наполнен свертками с золотом; очевидно, то были деньги, назначенные ей на булавки. С испугом задвинула она опять ящик и заперла его на ключ. Это открытие и душный комнатный воздух, пропитанный запахом жасминов, побудили ее выйти в соседнюю комнату и отворить стеклянную дверь в сад. Благодаря опущенным гардинам, Лиана не знала, что на безоблачном небе ярко светит полная луна. Она невольно отступила – так ослепителен, так необыкновенен показался ей Шенверт, окруженный остроконечными вершинами скалистых гор, частью покрытых чудным вековым лесом... Казалось, что эти горы, подобно драконам с оскаленными зубами, окружив Шенверт, стерегли это сокровище... Она вышла на веранду, крыша которой поддерживалась колоннами. Какой резкий контраст представляло собой новейшее убранство комнат с сероватыми от времени колоннами, гордо поднимавшимися в строгой красоте и облитыми теперь лунным светом. Не чувствовалось ни малейшего ветерка, хотя в верхних слоях воздуха, вероятно, было движение, потому что золотые арфы издавали по временам тихий, трепетный звук.

Среди этой торжественной тишины ночного часа вдруг послышались приближающиеся шаги; испуганная Лиана спряталась в тень за колонну, и в ту же минуту из-за северного угла дома выбежал ребенок; это был Лео. На босых ногах его были туфли. Наскоро надетые зеленые бархатные панталоны он держал обеими руками, а ночная рубашка его, обшитая кружевами, была расстегнута и спускалась с плеч... Ребенок робко осмотрелся и побежал еще скорее к проволочной решетке. Лиана неслышными шагами следовала за ним.

– Что ты делаешь тут, Лео? – спросила она, удерживая его.

Он испуганно вскрикнул.

– Ах, новая мама! – сказал он, как бы успокоившись. – Ты скажешь об этом дедушке?

– Если ты намерен поступить дурно, то конечно.

– Нет, мама, – ответил он своим твердым, уверенным тоном и потрянул локонами; он, по-видимому, выскочил из кровати. – Я только хочу дать Габриелю эти шоколадные фигуры, – я не сам взял их, право, мама! Господин Рюдигер положил их мне за ужином на тарелку. Я всегда прячу их для Габриеля, но наутро не нахожу уже их в кармане: фрейлейн Бергер очень любит их, она целый день жует и всюду шныряет, противная...

– Да где же эта фрейлейн Бергер? – спросила Лиана.

Наставница была представлена ей после свадьбы и произвела на нее очень благоприятное впечатление.

– Она играет в фанты в классной комнате и не позволяет мне входить туда; она заперла дверь, – ворчал Лео. – Они там ужасно шумят и пьют пунш; я слышу это сквозь замочную скважину... Я сегодня совсем не видел Габриеля, потому что худо вел себя, но спокойной ночи я ведь могу пожелать ему, – проговорил он своим обычным упрямым тоном. – Могу я, мама? Да, могу?

Он просил хотя и настойчиво, но с полным доверием ребенка к матери; радостно встрепенулось сердце молодой женщины: этот упрямый ребенок с первой минуты добровольно подчинялся ее материнскому авторитету, и луч счастья проник в ее изболевшуюся, печальную душу; она обняла мальчика и нежно поцеловала его.

– Дай мне конфеты, Лео! Я сама отнесу их Габриелю. Ты должен теперь лечь спать, – сказала она и протянула руку. – Я скажу ему от тебя «покойной ночи»; но где я найду его?

Лео охотно вывернул карманы и высыпал конфеты в красивые руки матери. Она улыбнулась: такого богатства шоколада нельзя было показать деду: выговор, сделанный за фруктовое мороженое, не ускользнул от ее тонкого слуха.

– Ты должна идти туда, мимо пруда, – объяснил мальчик, указывая на проволочную решетку. – А только в дом нельзя входить, дедушка это строго запретил, а фрейлейн Бергер говорит, что там живет колдунья с длинными зубами; конечно, это глупости, и я не боюсь. Ведь не кусает же она Габриеля?..

Молодая мать застегнула рубашечку Лео и повела его за руку обратно в замок... У потолка была привешена лампа, освещавшая сквозь зеленое граненое стекло магическим светом спальню ребенка. Постель царственного дитя не могла бы быть роскошнее и изящнее постели этого потомка Майнау. Но, несмотря на всю окружавшую его роскошь, на шелковые занавесы у постели, на дорогие кружева и шитье, украшавшие подушки и простыни малютки, бедному ребенку не доставало самых простых нежных попечений... Его сна не охраняла добрая любящая рука, хотя бронзовый ангел и поддерживал шелковые складки над его постелью и простирал над ним свои блестящие золотые крылышки...

Из соседней классной комнаты доносился веселый хохот и звон стаканов. Лиане казалось, что душа умершей матери должна, грозная, витать здесь и чертить на стене Мене, Теке!... забывшей свои обязанности наставнице.

– Мама, – сказал ребенок робко и торопливо, лаская ее своими маленькими ручками, в то время как она заботливо укрывала его одеялом, – как хорошо, что ты здесь! Ты всегда будешь приходить? Первая мама никогда не приходила к моей кровати... А ты наверное пойдешь к Габриелю и отнесешь ему от меня шоколад?

Лиана все обещала. Успокоенный ребенок склонил свою головку на подушку, и минут через пять его ровное дыхание показало Лиане, что он уже заснул. Неслышными шагами вышла Лиана из комнаты и заперла снаружи дверь, в которую он выбежал.

Глава 7

Пробило половина одиннадцатого, когда Лиана снова вошла в цветник, расположенный перед окнами ее комнат. Вдали виднелась проволочная решетка. «Козел отпущения», как назвал сегодня Рюдигер бледного, молчаливого мальчика, вероятно, уже давно спал, и не он был главной причиной

непреодолимого желания, которое влекло молодую женщину к таинственному убежищу. Обернувшись назад, она внимательно осмотрела старинный замок, который в своем строгом великолепии, с массивными сводами, с резными листочками клевера, украшавшими сводчатые окна, и с фигурой родового патрона на выступе фасада, величественно возвышался наподобие аббатства, облитый серебристым светом луны. Все окна были темны, только из нижнего зала пробивался свет лампы в темноту колоннад... Ей показалось, что, прислонившись к одной из колонн, неподвижно стоял какой-то человек, и пристально смотрел в полуотворенную дверь – воображение! Ни одна песчинка не шевелилась под ногами человека, ни малейшее движение не обнаруживало его дыхания, то, вероятно, была тень, падавшая от колонны.

Молодая женщина шла с сильно бьющимся сердцем по узкой песчаной тропинке, головы ее еще касались нижние ветви орешника и можжевельника; но вот затворилась за ней калитка проволочной решетки, и характер растительности изменился: на мягкой зеленой мураве поднимался могучий индийский банан, широкие листья которого бросали на траву гигантскую тень; потом тропинка пошла сквозь густой кустарник. Кругом искрились мириады светлячков; наверху, в ветвях, раздавался шорох; оторванная ветка упала на плечо молодой женщины, справа и слева к ней протягивались маленькие лапы обезьян и лукавые глаза их с любопытством заглядывали ей в лицо. Она невольно провела рукою по лбу, как бы желая освободиться от тяжелого сна; может быть, из темной зелени высунется зияющая пасть пестрой змеи или выступит перед ней неуклюжий исполин-слон, чтобы растоптать ее своими мощными ногами?.. Она, как бы ожидая их, остановилась; но из куста выпорхнула только испуганная цесарка, а через несколько шагов расступились кусты и деревья и перед нею явилась неподвижная, как зеркало, поверхность пруда; золотые купола индийского храма величественно поднимались к небу, как будто мраморные ступени его вели прямо к священным водам Ганга, а не к водам пруда немецкой долины.

Тяжело дыша от невольного страха, который наводит на нас одиночество в неизвестной местности и который вместе с тем неудержимо влечет нас вперед, Лиана медленно обошла пруд, не подозревая, что белая одежда ее, стройная фигура и роскошные золотые волосы, отражаясь в поверхности пруда, придавали какое-то особенное очарование этому своеобразному пейзажу; она не подозревала также, что, когда затворилась за нею проволочная решетка, виденная ею тень отделилась от колонны и неслышными шагами последовала за ней, как будто в золотистых косах, сбегавших вдоль ее спины и блестящих при лунном свете почти фосфорическим блеском, заключался магнетический ток, с

непреодолимой силой увлекавший за собою эту тень.

Показались белые стены низенького домика; кругом его вилась песчаная дорожка, и весь он утопал среди чудных сортов роз; тут цвели и благоухали карликовые и штамбовые розы и даже по бокам дорожки вились некоторые ветки чайных роз, бледные цветки которых тяжело склонились, точно убаюканные кротким светом луны. Постройка этого домика была так легка, что, казалось, его снесет первый сильный порыв ветра вместе с тростниковой черепицей на крыше и бамбуковыми столбиками, поддерживавшими веранду. Окна были большие, но защищенные точеной деревянной решеткой.

Нерешительно ступила молодая женщина на низенькую ступеньку веранды, пол которой был устлан циновками из пальмовой коры; они были так гладки, блестящи и свежи, как будто предназначались прохлаждать ноги утомленного зноем индийца. Сквозь решетку окна виднелся свет от лампы, привешенной к потолку; штора из пестрой плетенки опускалась до того места, где был сердцеобразный вырез в деревянной решетке; сквозь это-то отверстие Лиана могла увидеть большую часть внутренней обстановки комнаты.

У противоположной стены стояла кровать из тростника. На белых, как снег, простынях лежало необыкновенно нежное существо, лицо которого было скрыто в подушках, и потому трудно было решить – женщине или ребенку принадлежало оно. Мягкие складки белого кисейного одеяния ниспадали до самых ног, чрезвычайно маленьких и мертвенно-бледных, лежавших неподвижно. Обнаженная до самого плеча, худая и тонкая, как у тринадцатилетней девочки, рука тяжело свесилась с постели; широкие блестящие золотые браслеты красовались у кисти и выше локтя и производили неприятное впечатление: казалось, они должны были раздражать эту нежную кожу... Высокая здоровая женщина, стоявшая у кровати с серебряной ложкой в руке и упрашивавшая о чем-то, стараясь придать своему грубому голосу мягкий оттенок, была знакома Лиане как представленная ей после свадьбы под именем госпожи Лен, ключницы замка.

Ложка, которую женщина старалась держать дальше от своего чистого, нарядного фартука, конечно, была наполнена лекарством и приводила в ужас больную. Как ни уговаривала ее женщина, как ни гладила ласково по голове свободной рукой, больная не уступала.

– Не могу ничего сделать, Габриель, – сказала наконец Лен, повернувшись к той части комнаты, которую Лиана не могла видеть, – ты должен поддержать ей голову... Ей во что бы то ни стало нужно уснуть, дитя мое.

Бледный мальчик, «козел отпущения» Лео, подошел ближе и осторожно попробовал просунуть руку между подушкой и лицом больной. При этом движении больная с ужасом подняла голову, и Лиана увидела худенькое, бледное, но вместе с тем прекрасное лицо женщины. Лиану до глубины души поразил выразительный взгляд необыкновенно больших глаз, с таким нежным упреком и мольбою смотревших на мальчика. Мальчик отступил на шаг и опустил руки.

– Нет, нет, я ничего не сделаю тебе! – сказал он, и в его нежном голосе звучало горе и сострадание. – Не могу, Лен, ей больно!.. Лучше я усыплю ее песнями.

– В таком случае ты можешь петь до утра, – возразила Лен. – Когда ей так нехорошо, как сегодня, песнями не усыпишь ее, ведь это ты сам знаешь.

Она пожала плечами, но не имела духу принуждать Габриеля помочь ей. Какое мягкое сердце билось в груди у этой, по-видимому, грубой женщины, с резкими чертами лица, которая казалась такой угрюмой и неприступной во время представления ее новой госпоже!

Лиана отворила дверь, находившуюся между двух окон, и вошла в комнату. Ключница испуганно вскрикнула и чуть не пролила лекарства.

– Подержите больную, – сказала Лиана, я дам ей лекарство.

Внезапное появление стройной молодой женщины в белой одежде с аристократическими манерами, положительно парализовало больную – она, не шевелясь, а только пристально глядя в наклонившееся над нею миловидное лицо молодой женщины, беспрекословно приняла лекарство.

– Вот лекарство и принято, мой милый, – сказала Лиана и положила ложку на стол. – Ей не причинили боли, и теперь она заснет.

Лиана нежно погладила темную головку Габриеля.

– Ты, верно, очень любишь ее?

– Она моя мама, – с неизъяснимой нежностью ответил мальчик.

– Это бедные люди, баронесса, очень бедные, – вмешалась ключница грубым и сухим голосом.

Ни в голосе, ни в лице ее уже не было и тени той нежности и сочувствия, которыми несколько мгновений назад дышало все ее существо.

– Бедные? – переспросила молодая женщина и невольно указала на блестящие браслеты на руках, на дорогие ожерелья на груди больной, которая до сих пор не отводила своих восторженных глаз от Лианы.

Теперь ее лицо приняло выражение страха и тревоги, и она судорожно сжала левой рукой какой-то предмет, висевший на одной ниточке ожерелья, по-видимому, серебряный флакон.

– Ну, ну успокойся; баронесса ничего у тебя не отнимет! – проговорила Лен резким и повелительным тоном. – Они бедны, баронесса, – обратилась она снова к Лиане. – Эти безделушки ведь не прокармливают, – она указала на украшения, – да, в сущности, они ей и не принадлежат, и старый господин гофмаршал мог бы отнять их, если бы захотел. У нее нет никого и ничего на свете, и если она и мальчик получают здесь, в замке, приют и пропитание, то это чисто из милости.

Все объяснение было сделано с такой последовательной беспощадностью, что у Лианы болезненно сжалось сердце, особенно когда Габриель, нагнувшись над матерью, осыпал ее нежными ласками, как беззащитного ребенка, которого ласками можно заставить забыть причиненное ему горе... Прекрасная головка мальчика, задумчиво склоненная набок, с грустной складкой вокруг рта, носила на лице отпечаток терпения и рабского послушания, выработавшихся вследствие постоянных притеснений. Лиана могла бы спросить: кто эта необыкновенная женщина и как она попала сюда с ребенком, осужденным расти под таким страшным гнетом? Но страх услышать дальнейшие беспощадные объяснения ключницы заставил ее удовлетвориться тем, что уже услышала. Она выложила из кармана на стол шоколадные фигуры.

– Это Лео посылает тебе, – сказала она, – и я пришла от него сказать тебе «спокойной ночи».

– Он добрый, и я люблю его, – ответил мальчик со своей грустной улыбкой.

– Это хорошо, дитя мое, но ты не должен более терпеть наказание за его шалости.

Она взяла его за подбородок и, приподняв его головку, с любовью заглянула в его невинные глазки.

– Неужели у тебя хватает мужества всегда молча сносить несправедливости? – спросила она серьезно.

Некрасивое лицо ключницы вспыхнуло от удивления; она, видимо, с минуту боролась с охватившим ее чувством умиления, но это было только одну минуту, а затем, глядя испытующе на свою госпожу, она сказала еще более резким тоном:

– Габриелю, баронесса, это вовсе не вредит, и если к нему несправедливы в замке, то он должен благодарить за это и целовать руку, которая его карает... Он будет монахом, пойдет в монастырь, а там надо на всякую обиду молчать, как бы ни кипело гневом сердце... Маленького барона Лео он должен любить, ведь по его милости он до сих пор здесь: это он выпрашивает у гофмаршала, а то давно бы Габриеля разлучили с матерью.

Глаза мальчика наполнились слезами.

– Ты должен быть монахом? Тебя принуждают к этому, Габриель? – быстро спросила Лиана.

– Говори правду, сын мой, кто принуждает тебя? – раздался вдруг сзади голос придворного священника, совершавшего сегодня брачный обряд.

Он стоял на пороге отворенной на веранде двери, и темная фигура его резко выделялась на облитых лунным светом розовых кустах. При виде его Лиана вспомнила о тени, виденной ею у колонны: значит, он подсматривал и следил за

ней.

Лен присела, а священник с изящным поклоном, улыбаясь, вошел в комнату и сказал:

– Успокойтесь, баронесса, мы совсем не так жестоки в Шенверте, мы не позволяем себе таких возмутительных насилий, о которых повествуется легковерному свету в сказке о мальчике Мортаро, не так ли, дитя мое?

Он ласково положил свою тонкую белую руку на плечо Габриеля. Если бы не длинная монашеская одежда и не тонзура, белым пятном выделявшаяся на темной кудрявой голове его, никто не принял бы этого человека за духовное лицо. Ни тени той величавой медлительности в движениях, которая часто отзывается чем-то заученным, театральным, ни малейшего умиления в тоне и словах!.. Еще сегодня за столом, во время жаркого политического спора, его металлический голос звучал вызовом, подобно боевому кличу.

При его появлении больная снова уткнулась лицом в подушки и притихла, будто уснула; она походила на испуганную, дрожащую птичку, старающуюся укрыться от рук ловца.

– Что с ней опять сегодня? – спросил священник. – Она очень взволнована, – я даже в ризнице слышал ее стоны.

– Ваше преподобие, герцогиня опять проезжала сегодня мимо дома, а после этого, как вам известно, ей всегда бывает хуже, – почтительно ответила ключница, но с плохо скрытой досадой.

На губах священника мелькнула насмешливая улыбка.

– Но она должна свыкнуться с этим, – сказал он, пожав плечами. – Герцогиня, конечно, не откажется от своих прогулок по «Кашмирской долине» ради этой несчастной, да у кого же достало бы мужества требовать от нее подобной жертвы?

Он подошел ближе к кровати, больная содрогнулась.

– При всей вашей строгости, вы, верно, слишком снисходительны к больной, добрейшая госпожа Лен? – сказал он. – К чему эти тяжелые браслеты на разбитых параличом членах? К чему эти ожерелья на груди?

– Она умерла бы, ваше преподобие, если бы я лишила ее этих вещей, – сказала Лен сквозь зубы, с какою-то особой торопливостью, и маленькие глубокие глаза ее сверкнули.

– Не думайте так: она так слаба, худа и так изнурена, что едва дышит. Эта тяжесть при ее беспомощности тревожит ее больше, нежели вы думаете... Подойдите сюда, попробуем!

Теперь больная широко открыла глаза, они были полны ужаса. Прижавши к груди левую руку, она испустила тот же жалобный стон, какой Лиана слышала днем в своей комнате. Лен стала между кроватью и священником и положила свою широкую костлявую руку на маленькую, судорожно сжатую руку больной.

– Ваше преподобие, смею просить вас, уважьте мою просьбу! – протестовала она особенно резко и решительно. – Это ведь и меня касается!.. Если вы мне растревожите ее, кому придется не спать ночей? Все мне, несчастной... Я могла бы избежать этого, конечно, могла бы иметь покой, как прочие люди в замке, которые ни за какие блага не придут сюда... и я делаю это вовсе не из любви или сожаления, – я не из числа мягкосердечных и не хочу казаться лучше, чем я на самом деле... Да и какое мне до нее дело, – продолжала она спокойнее, но с досадой. – Если я здесь прислуживаю, так это из усердия к моим господам, которые меня кормят.

– Ах, вот вы из-за чего хлопчете! – произнес священник, с улыбкой покачав головой. – Но кто же сомневается в вашей верности и в вашем бескорыстии?.. Пусть останутся у больной ее игрушки, я не хочу осложнять ваши обязанности.

Во время этого разговора Лиана незаметно вышла. Все эти лица произвели на нее такое тягостное впечатление, что она почувствовала потребность снова увидеть прозрачное звездное небо над головой, снова дышать свежим ночным воздухом, услышать шум своих шагов по песчаной тропинке, чтобы убедиться, что она не находится под влиянием какого-то фантастического сна. Все увиденное ею казалось картиной, полной анахронизмов; странное худенькое существо, лежащее на тростниковой кровати, окутанное облаком белой кисеи, в

тяжелых золотых украшениях, подобно индийской принцессе, и эта суровая женщина с ее простонародным немецким наречием, туго накрахмаленным фартуком, роговым гребнем в седой косе, представляли почти невероятную противоположность!

Воздух был полон опьяняющего аромата от множества роз. Легкий ветерок играл в их листве и, пробираясь сквозь освещенную луной чащу деревьев, разносил по саду тихие звуки эоловых арф. Молодая женщина невольно приложила похолодевшие руки к сильно бьющимся вискам и сошла с веранды.

– «Кашмирская долина» – рай, который не сумели понять первые люди и заградили его для всех нас, – сказал последовавший за ней священник и пошел рядом. – Большинство ищет его и, помня проклятие, минует его, не замечая; аскет добровольно и сурово отказывается от него на всю жизнь, издеваясь над всеми его радостями, пока не грянет гром, и повязка не спадет с его глаз и он не поймет, что был глуп; только тогда он познает, что не наследовал проклятия, а сам своею дерзостью призвал его на свою голову.

Его голос был глух, словно знойная июльская ночь душила его.

Лиана остановилась и взглянула на неправильные, но глубоко взволнованные черты лица священника; она хотела уже ответить ему, как вдруг кровь бросилась ей в лицо и залила даже белые нежные виски ее, а большие умные глаза стали холодны, как сталь, под влиянием огненного взгляда этого человека; чувствуя на себе его пламенный взор, она не хотела поддерживать такого волнующего душу разговора. Преодолевши свое смущение, она лишь холодно ответила:

– После таких стонов, какие я сейчас слышала, я не могу думать о рае... Кто эта несчастная женщина?

Лицо священника разом побледнело. Он с видимым раздражением посмотрел искоса на молодую женщину, сделавшуюся так неожиданно неприступной одним только гордым поворотом своей хорошенькой головки. Это была настоящая графиня Трахенберг, вполне достойная своих славных предков.

– Не возмутится ли ваша гордость, когда вы узнаете, что Шенверт служит приютом потерянной женщине? – сказал он с резкой иронией. – Нет ничего

непреклоннее гордой своей добродетелью женщины, она счастлива! Но горе тем, которых увлекает пылкое сердце!.. Я видел этот целомудренно-холодный, осуждающий женский взгляд, он пронзает как нож!

Что за речи в устах священника!.. Он повернулся и указал на дом с тростниковой крышей, который терялся за розовыми кустами.

– Кто бы мог поверить теперь, что это разбитое параличом существо, рук и ног которого уже коснулась смерть, танцевало когда-то на улицах Бенареса? Она была баядерка, бедная индийская девушка, которую один из Майнау увез за море... Ради нее возникла эта так называемая Кашмирская долина под немецким небом, тратились тысячи, чтобы только вызвать на ее уста улыбку и заставить ее забыть небо отчизны.

– А теперь ее из милости кормят в Шенверте и отдали в распоряжение суровой женщине, – проговорила глубоко взволнованная Лиана. – А ребенка ее так мучат...

– Ввиду вашего собственного интереса осмелюсь просить вас не высказываться так резко в присутствии гофмаршала, – прервал он ее. – То был его брат, который своими любовными похождениями возбудил против себя негодование света. Он давно уже умер, но и теперь, когда заходит речь об этом предмете, старик приходит в сильное раздражение. Он ревностный католик.

– Но его строгая вера вовсе не дает ему права угнетать бедного, невинного мальчика, чему я сама была сегодня свидетельницей, – неумолимо добавила Лиана.

В это время они вошли в чашу роши; молодая женщина не могла видеть лица своего спутника, но слышала его смущенное покашливание. После минутного молчания он ответил отрывисто:

– Я уже сказал вам, что это потерянная женщина: она была неверна, как и все индианки; мальчик имеет столько же прав на дом Майнау, как и всякий нищий, стучащийся у ворот Шенвертского замка.

Лиана замолчала. Она ускорила шаги; ей было невыносимо душно под сводами густых ветвей. Ее разгоряченному воображению представлялось, будто от

шедшего за ней человека веяло пламенем. Вдруг ей показалось, что одна из ее кос зацепилась за куст; протянув руку, чтобы освободить ее, она коснулась чьей-то быстро отнятой руки. Лиана чуть не вскрикнула. Если бы в действительности ей попало под руку скользкое тело кобры, она не больше испугалась бы, чем этого прикосновения.

Выйдя из рощи, она невольно бросила робкий взгляд на освещенное лицо священника; оно было так спокойно, как изваянное из камня. Небольшое расстояние они прошли молча; когда же калитка проволочной решетки затворилась за ними, священник остановился; казалось, он подыскивал выражение для того, что хотел еще сказать...

– Шенверт – раскаленная почва для нежных женских ножек – из Индии ли они происходят или из немецкого графского дома, – произнес он глухим голосом. – Баронесса, теперь всеобщее мировое волнение и боевой клич его: «Долой ультрамонтанов, долой иезуитов!» Вам будут говорить, что я самый ярый из них, что я фанатик, вам будут говорить, что я умею подчинять своей власти высокопоставленных особ, что и составляет главную цель иезуитского ордена на всем земном шаре; думайте об этом, как вам угодно... Но если в тяжелые для вас минуты – а без этого здесь не обойдется – вам понадобится рука помощи, позовите меня – и я тотчас же явлюсь.

Он поклонился и быстрыми шагами направился к северному флигелю замка. Лиана поспешила к себе. Трепещущими руками заперла она стеклянную дверь и недоверчиво осмотрела все гардины – плотно ли они сдвинуты, боясь, чтобы внутрь не проник чей-нибудь непрошенный взгляд...

Никогда еще при мысли о том, что ожидает ее в будущем, не было у нее такой тяжести на душе, как в эту минуту, – никогда, даже и в те ужасные дни, когда по Рюдисфордскому замку раздавался молоток аукциониста, а ее мать, ломая руки, бегала по пустым залам и в отчаянии бросалась на пол, обвиняя Провидение, допускавшее умирать с голоду последних Трахенбергов... Тогда умная, энергичная Ульрика взялась за хозяйство и сумела сделать довольно сносной их домашнюю жизнь, и спасителем её и брата явился труд. Труд – более достойная поддержка, нежели «рука помощи» того католического священника! Нет, тысячу раз лучше пасть в борьбе с «тяжелыми минутами», нежели обратиться к нему за помощью!

Глава 8

Наутро Лиана открыла рядом со своей уборной скромно убранную, но веселенькую комнатку, очевидно, предназначенную служить ей гардеробной. Сюда перенесла она свой ботанический пресс, свои книги и рисовальные принадлежности, – тут будет она работать. Большое окно выходило на самые живописные части сада и на возвышавшиеся за ним высокие, покрытые лесом горы. Она заперла дверь на ключ и приказала горничной перенести гардероб в другую комнату. Горничная объяснила свое позднее появление обедней, и, действительно, от ее платья еще пахло ладаном.

– Придворный священник слишком строг, – жаловалась она, – и если больной человек в состоянии хотя бы ползать, то должен быть у обедни... Он гостит здесь иногда дня по два или по три; у него в Шенверте свои отдельные апартаменты, и он бывает еще строже самого гофмаршала. В столице говорят то же самое, господин придворный священник у герцогини первое лицо... – Затем она свое длинное объяснение заключила словами:

– Слава Богу, он только что уехал назад в город!

Это известие успокоило также и Лиану.

Вошел слуга и доложил, что в столовой подан завтрак. Столовая замыкала собой длинный ряд комнат гофмаршала; окна ее, обращенные на восток, выходили на обширный двор замка. Убранство ее состояло из массивной дубовой мебели, из множества оленьих и кабаньих голов, развешанных по стенам, и из массивных кубков в буфетах, – все это могло бы с гордостью служить украшением рыцарских обеденных зал средних веков. В одном из углов столовой топился камин, искры с треском летели на широкую полосу падавшего на паркет луча утреннего солнца. Теплота от камина достигала только кресла гофмаршала и стоящего около него, покрытого салфеткой столика, так как столовая была слишком обширна.

Подагра в ногах на этот раз, по-видимому, не так мучила старика: оставив свое кресло, но все-таки опираясь на костыль, он стоял у окна и смотрел на двор, когда вошла Лиана. Она увидела его фигуру в профиль. Этот человек был высокого роста, худой и, как все Майнау, был, вероятно, красив в молодости,

если бы только черты его не были так мелки для мужского лица; сильное углубление между лбом и носом и слишком маленькое пространство от подбородка до носа составляли те особенности, которые делали в молодости его лицо пикантным, а теперь придавали ему довольно лукавое выражение.

Сквозь полуотворенную дверь соседней комнаты слышался громкий голос маленького Лео. Странное дело, при виде старика, стоявшего у окна, этот голос как-то успокоительно подействовал на молодую женщину... В стороне от гофмаршала в почтительном отдалении стояла ключница. В руках она держала книгу и разные бумаги, по-видимому хозяйственные счета, и тоже вытягивала шею, стараясь через плечо своего господина заглянуть на двор...

Когда Лиана, поклонившись гофмаршалу, прошла мимо нее, то не заметила по ее лицу, чтобы она помнила о происшествии прошедшей ночи, Гофмаршал повернулся и ответил на поклон Лианы хотя вежливо и любезно, но как-то торопливо; все внимание его, казалось, сосредоточилось на одном предмете во дворе.

– Вот, полюбуйте, – сказал он с волнением, обращаясь к подходившей Лиане, и указал ей на двор. – Эти безбожные повесы обрезают молодые деревья, только что посаженные в парке... негодяи! Они хорошо знают, что арапник висит на стене с тех пор, как я осужден сидеть на одном месте... Но на этот раз Рауль прочит их для примера: ведь это его касается – эти новые посадки сделаны по его желанию.

Барон Майнау, вероятно, только что вернулся с утренней прогулки верхом; он был в шпорах, с хлыстом в руке и в запыленном платье.

Перед ним стояли «безбожные повесы» – двое деревенских детей: мальчик и девочка. Их привел полевой сторож, который, держа мальчика за плечо, делал доклад о совершенном ими преступлении. Из всех окон выглядывали головы; у сарая стоял конюх, вытаращив глаза и устремив их на хлыст господина барона, которым тот, слушая доклад, хлестал воздух. Девочка горько плакала, утирая слезы передником, и маленькое грустное личико ее было бледно, как известковая стена.

Сторож окончил доклад; Майнау сердито журил детей, и его голос доносился в комнаты. Он раза два поднимал над головами маленьких преступников свой

хлыст, угрожая строгим взысканием, если проступок повторится, потом указал им на ворота; девочка опустила передник и пустилась бежать, мальчик последовал за нею, и через несколько мгновений они скрылись за углом под громкий хохот замковых слуг.

– Глупец, глупец! – в бешенстве ворчал гофмаршал и, прихрамывая, побрел от окна к своему креслу. Он был в самом дурном расположении духа. Лен укутала его ноги стеганым одеялом, поправила в камине дрова и спросила, указывая на расходную книгу, какие будут дальнейшие приказания господина барона.

– Никаких, – сердито ответил он, – кроме тех, что я раньше отдал, – не давать больше мадеры там, в индийском доме!.. С ума, что ли, вы сошли, Лен! Вы, кажется, думаете, что у меня деньги с неба валяются? Почему бы вам уже не делать ей ванны из вина и бульона? От вас и это станется!

– Мне все равно, господин барон, какое мне до того дело, – возразила ключница равнодушно. – Не одно ли и то же для меня наливать воду или вино в ложку, которую я подаю ей... Новый доктор просто сказал: она должна принимать мадеру.

– Пусть этот болван со всей его премудростью проваливается, куда знает! Ему незачем посещать ее.

– В тот день, как он вступил в должность замкового врача, молодой барон сам изволил проводить его туда, – возразила Лен, нисколько не смущаясь грубым тоном своего господина. – Он осматривал ее и уже два раза спрашивал меня, – будто я могу что знать! – не были ли у нее припадки удушья, прежде чем разбил ее паралич?

Между тем Лиана подошла к большому круглому столу, стоявшему посреди зала; на столе был приготовлен завтрак. Взявши кофейник, она стала спиной к говорившим и вдруг испуганно схватилась за свое легкое батистовое платье: искры градом посыпались из камина, с таким ожесточением гофмаршал мешал в нем своим костылем дрова.

– Довольно, теперь вы можете убираться, Лен! – крикнул он со сверкающими глазами и указал на дверь. – Вы с вашей бабьей болтовней надоели мне!

Ключница с покорностью двинулась к двери, и уже взялась было за ручку. При этом шуме барон опять сильно ткнул в дрова костылем и повернул лицо к уходившей.

– Лен! – снова позвал он ее. – Вы самая несносная женщина, какую мне когда-либо приходилось иметь в услужении, но вы, по крайней мере, имеете то преимущество перед прочей прислугой замка, что по большей части бережете мудрость свою про себя и не пускаетесь в рассуждения... – Тут он откашлялся. – Пожалуй, продолжайте давать ей мадеру, но только чайными ложками – слышите? – чайными, большая порция вина может причинить ей вред... Посещения же доктора я запрещаю раз и навсегда. Помочь ей он все равно не сможет, а только беспокоит ее своими осмотрами.

В эту минуту в соседней комнате раздался гневный крик, за ним последовал целый поток бранных слов из уст Лео, и слышно было, как он затопал ногами.

– Эй, что там! – закричал гофмаршал. – Да где прячется эта Бергер?

– Я здесь, – отвечала наставница, входя в комнату с обиженным, но все-таки смиренным видом. – Я все время была здесь в комнате... Лео сначала был такой смирный, послушный мальчик, но потом Габриель выронил из молитвенника картинку. А ведь вы, господин барон, знаете, что мальчик глуп и вздорен. Вместо того чтобы отдать ее Лео, он стал вырывать ее у него из рук.

Маленький Лео не дал ей окончить; он своими сильными руками оттолкнул ее в сторону, подбежал к деду, держа в каждой руке по половине картинки.

– Рвать она все-таки не должна была! Ведь это глупо было, дедушка! Не правда ли? – кричал он вне себя. – Мне очень хотелось иметь эту картинку, это правда, а Габриель не давал, ни за что не хотел дать ее мне; тогда она схватила этого чудного льва и разорвала его пополам!.. Посмотри!

– Не могу не похвалить вашего неподражаемого решения, госпожа мудрость, – сказал гофмаршал с едким сарказмом наставнице, которая, настаивая на своей правоте, подошла было ближе, но теперь в смущении потупила глаза.

Гофмаршал взял разорванную картинку и бросил на нее беглый взгляд.

– Габриель! – позвал он строго и повелительно.

Мальчик вошел в комнату и остановился у двери; его ресницы были опущены, и лицо сделалось бледнее обыкновенного.

– Ты опять малевал? – спросил резко гофмаршал, прищулив свои и без того маленькие глаза, и устремил язвительный взгляд на трепещущего мальчика.

Габриель молчал.

– Ты опять стоишь, как будто и до трех не умеешь сосчитать, хитрец! А там, за проволочной решеткой, ты совсем другой... я знаю тебя! Только попусту портишь дорогую бумагу и поешь светские песни, как какой-нибудь язычник.

Эти слова потрясли Лиану; она нежно взглянула на мальчика: это были те самые песни, которые пел бедный ребенок с исполненным тревогой сердцем, чтобы успокоить свою взволнованную мать.

Гофмаршал потер бумагу пальцами.

– И откуда у тебя такая великолепная бумага? – продолжал он допрашивать.

Ключница, взявшись было за ручку двери, быстро повернулась и приблизилась на несколько шагов; ее лицо было совершенно спокойно, только всегда румяные щеки стали еще краснее обыкновенного.

– Это я дала ему, барон, – сказала она своим решительным тоном. Гофмаршал обернулся.

– Что это значит, Лен? Как осмелились вы сделать это, вопреки моему неперемennomu желанию и моей воле?

– Э, господин барон. Рождество исключительное дело: тут только и хлопчешь о том, чтобы за пару пфеннигов видеть благодарность, а мальчика ничем так не утетишь, как этой бумагой... Детям кучера Мартина я подарила на елку целый стол разных безделушек, и никто не осудил меня за это... Я целый год не забочусь о том – пишет или рисует Габриель, ведь это не мое дело, да я ведь

ничего и не понимаю; я и подумала так: а может быть, он нарисует Матерь Божию, ведь это не грех.

Гофмаршал смерил ее долгим, подозрительным взглядом.

– Не понимаю, или вы бесконечно глупы, или чрезвычайно хитры, – проговорил он, отчеканивая каждое слово.

Лен спокойно выдержала его взгляд.

– Милосердный Боже! Во всю жизнь мою я ни разу не хитрила! Нет, уж скорее я глупа, господин барон.

– Ну, так позвольте просить вас оставить ваши глупости на будущее Рождество. Берегите ваши пфенниги на черный день, когда вы не в силах будете ни работать, ни служить! – гневно сказал он и ударил костылем о паркет. – Мальчик не должен рисовать ни под каким видом, слышите ли?.. Это его развлекает... Разве это Матерь Божия? – горячился он, показав ей оба куска разорванной бумажки, на которой был правильно нарисован лев, готовящийся сделать прыжок. – Я говорю, что он только дурачится, а вы так просты, что еще помогаете ему... Отвечай! – скомандовал он мальчику, – какое у тебя призвание?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/evgeniya-marlitt/vtoraya-zhena-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)